Анатолий Вишневский

ВРЕМЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН

Анатолий Вишневский

Время демографических перемен. Избранные статьи

«Высшая Школа Экономики (ВШЭ)»

2015

УДК 314(081.2)
ББК 60.7я44

Вишневский А. Г.

Время демографических перемен. Избранные статьи /
А. Г. Вишневский — «Высшая Школа Экономики (ВШЭ)», 2015

Книга представляет собой сборник избранных статей А. Г. Вишневского, публиковавшихся, в основном, на протяжении последних 10–15 лет и посвященных ключевым вопросам демографии XXI в.Главное внимание в отобранных для издания статьях сосредоточено на теоретическом осмыслении происходящих в мире фундаментальных демографических перемен и вызываемых ими последствий. Эти последствия имеют универсальный характер и пронизывают все уровни социальной реальности – от семейного до глобального. Важное место в книге занимает российская проблематика, автор стремится осмыслить переживаемые Россией демографические перемены и стоящие перед ней демографические вызовы в контексте универсальных и глобальных демографических перемен и вызовов. Часть статей посвящена истории и современному состоянию отечественной демографической науки.Потенциальная аудитория книги – исследователи, представляющие широкий круг обществоведческих дисциплин, преподаватели и студенты, политики и журналисты, а также читатели, интересующиеся демографией и смежными науками.Выход книги приурочен к 80-летию А. Г. Вишневского.

УДК 314(081.2)
ББК 60.7я44

© Вишневский А. Г., 2015
© Высшая Школа Экономики (ВШЭ), 2015

Содержание

Раздел 1 7
Демографическая реальность в свете теории и идеологии[1] 7
Теория, идеология и смена «картины мира» 7
Детерминированный мир Фомы Аквинского 9
Вероятностный мир «невидимой руки» Адама Смита 9
Демографические процессы: управление извне или самоорганизация? 11
Кому доверять: массовому выбору или «идеологу»? 12
Демографическая революция меняет репродуктивную стратегию вида homo sapiens[2] 15
Смысл демографического перехода 15
Курица или яйцо? 17
Эпидемиологический переход 19
«Первый демографический переход» 21
«Второй демографический переход» 24
«Третий демографический переход» 26
Заключение 30
Литература 31
Цивилизация, культура и демография[6] 34
Демографический переход как часть цивилизационного перехода 34
Снижение смертности и новая медицинская цивилизация 37
Новая цивилизация – цивилизация низкой рождаемости 39
Конец ознакомительного фрагмента. 43

А. Г. Вишневский
Время демографических перемен. Избранные статьи

© Вишневский А. Г., 2015
© Оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2015

* * *

Раздел 1
Демографический переход

Демографическая реальность в свете теории и идеологии[1]

Теория, идеология и смена «картины мира»

Демографические процессы, которые еще 100 лет назад привлекали внимание лишь немногочисленных специалистов (а если говорить о нашей стране, то так было еще и 50 лет назад), сегодня стремительно выдвигаются едва ли не в самый центр общественного внимания. Демографам приходится искать ответы на множество интересующих общество весьма непростых вопросов. Вопрос о низкой рождаемости – может быть, самый загадочный и сложный.

В самом деле, во всех современных городских обществах наблюдается падение рождаемости, которое, если оно идет непрерывно, имеет своим неизбежным следствием прекращение роста населения, а затем и его сокращение (депопуляцию). Всякий раз, когда общество сталкивается с этой угрозой (впервые это произошло во Франции в XIX столетии), обнаруживается однотипная реакция общественного мнения, начинаются поиски политических и научных ответов на этот вызов, средств лечения неизвестной болезни. Однако, несмотря на то что такие поиски ведутся в разных странах уже не менее 100 лет, больших успехов они не принесли. Рождаемость в наиболее богатых, экономически развитых странах продолжает снижаться, почти повсеместно она давно уже опустилась ниже уровня простого замещения поколений, и отрыв от этого уровня с каждым годом становится все большим. Попытки воздействовать на рождаемость, задержать ее падение или добиться ее повышения неизменно терпят фиаско.

По мере того, как нарастает опыт неудач подобного воздействия, увеличиваются и сомнения – вначале по поводу выбираемых средств воздействия, а затем и по поводу самого диагноза той болезни, которую пытаются лечить с помощью этих средств. Все лучше осознаётся недостаточность теоретических представлений, лежащих в основе современных взглядов на рождаемость и ее детерминацию, появляются попытки новых объяснений и возникают новые споры, разрешение которых требует лучшего осмысления методологических подходов к построению непротиворечивой теоретической концепции массового демографического (и более широко – социального) поведения.

Разумеется, задача создания такой концепции не относится к числу простых. Возникающие в связи с этим споры внутри научного сообщества – нормальное явление, только они и могут приблизить исследователей к пониманию истинных внутренних механизмов социального поведения. Однако достаточно долгий опыт таких споров в разных странах показывает, что в них всегда присутствует и бесплодный компонент, который не приближает к решению означенной задачи, а удаляет от него, ибо спорящие нередко говорят на разных языках и просто не слышат друг друга. Мне кажется, что одна из главных причин этого диалога глухих – идеологизация научного знания, внесение в него некоторых априорных компонентов, что противоречит самой природе науки как способа познания неизвестного. Поэтому первое, что хочется сделать, это попытаться разобраться в соотношении «теории» и «идеологии».

---

[1] Четвертые Сократические чтения по географии. Научные теории и географическая реальность: сб. докл. / под ред. В. А. Шупера. М., 2004. С. 35–47.

Как полагал В. Даль, теория – это «умозренье, умозаключенье; заключенье… из чего-либо, не по явленью на деле, а по выводам своим; …Теоретический, умозрительный, умозаключительный. Теорик, теоретик, кто держится одних умозрений, верит им, стоит на них». Но такое понимание теории кажется устаревшим. Как разъясняет последнее издание Большой советской энциклопедии, теория (правда, «в более узком и специальном смысле») – это «высшая, самая развитая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существующих связях определенной области действительности – объекта данной теории».

А что же такое идеология? Обратимся еще раз к БСЭ. Идеология – это «система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, <…> а также содержатся цели (программы) социальной деятельности, направленной на закрепление или изменение (развитие) данных общественных отношений».

Но вот что интересно. В той же БСЭ говорится, что Маркс и Энгельс под идеологией понимали (1) «идеалистическую концепцию, согласно которой мир представляет собой воплощение идей, мыслей, принципов»; (2) «соответствующий этой концепции тип мыслительного процесса, когда его субъекты – идеологи <…> постоянно воспроизводят иллюзию абсолютной самостоятельности общественных идей»; (3) вытекающий отсюда метод подхода к действительности, состоящий в конструировании желаемой, но мнимой реальности, которая выдается за самою действительность». Таким образом, Маркс и Энгельс противопоставляли идеологию теории как научному знанию. Ленин же, как говорится далее в БСЭ, «расширил понятие идеологии, введя категорию “научной идеологии”», каковой и был назначен марксизм.

Я привожу все эти цитаты не для того, чтобы найти в них какую-то истину, а для того, чтобы показать, как понимание того, что такое теория и идеология, «плавает», одно перетекает в другое, и эти два понятия часто смешиваются. Поэтому я просто уточню, что буду под теорией понимать «научную» теорию, описывающую объективные внутренние взаимосвязи, механизмы и т. д. изучаемого объекта и лишенную какой бы то ни было оценивающей, аксиологической составляющей. А идеология в моем понимании – это именно система взглядов, подчиненная каким-то аксиологическим критериям: представлениям о добре и зле, благе и вреде и т. п. и не в последнюю очередь занятая «конструированием желаемой, но мнимой реальности». Можно сказать, что теория, с моей точки зрения, – это феномен из области науки, а идеология – из области веры.

Истинные отношения между теорией и идеологией, особенно в сфере социального знания, довольно сложны. Идеология часто рядится в одежды теории, а теория столь же часто открещивается от идеологии. Но на деле обычно приходится сталкиваться с комбинацией того и другого в соотношении, которое зависит от общего мировоззрения теоретиков и идеологов. А оно, в свою очередь, при всем значении индивидуальных склонностей каждого из них, в решающей степени предопределено историческим состоянием общества и той картиной мира, которая соответствует достигнутому им уровню развития.

Особенность нашего времени, едва ли не самая главная черта интеллектуальной жизни той эпохи, в которой мы живем, – кардинальная смена картины мира. Эта эпоха длится уже не одно столетие, и пока ей не видно конца. Хотя новая картина мира давно уже перестала быть достоянием узкого круга провидцев и сейчас стоит перед мысленным взором сотен миллионов, а то и миллиардов людей, она лишь потеснила старую картину мира, но не вытеснила ее. Наше время продолжает оставаться временем столкновения, полемики – когда мирной, а когда и не очень, – но в то же время и взаимодействия традиционной и современной картин мира, эпохой раскола, который проходит не только между странами и континентами, не только между различными политическими силами и партиями, но и внутри любого интеллектуального сообщества. И в каждом таком сообществе, и даже в сознании каждого отдельного человека присутствуют – в разных сочетаниях – элементы «традиционного» и «современного» сознания.

Детерминированный мир Фомы Аквинского

«Традиционное» сознание соответствует – со всеми возможными оговорками – «простому», слабо дифференцированному, «пирамидальному», четко упорядоченному иерархизированному миру прошлых эпох. В этом мире – как в земном, так и в отраженном небесном – царит «божественный порядок», он управляется демиургом в его различных ипостасях, но это всегда какая-то надындивидуальная сила, которая творит, сохраняет или охраняет мир «сверху», из какого-то «центра». Это мир Фомы Аквинского, автора „Summa Theologica“, которая описывает «справедливое общество, согласующееся со святым писанием и разумом… Общая концепция… гармонировала с целостным и иерархическим обществом, столь прекрасно созданным, что оно казалось естественным, части которого были взаимосвязаны и каждый член его занимал положенное ему место… Земной общественный мир во всех отношениях соответствовал великому небесному миру. Ангелы соответствующего ранга, подобно отдельным людям, занимали свое место и управляли звездными сферами… Эта система была… неизменна и долговечна, подчиняясь лишь воле Бога».

Традиционный мир – это хорошо детерминированный мир, и ему соответствует детерминизм как философская концепция, как мировоззрение и как идеал. Отсюда, в частности, идея построения общества, в котором покончено с частной собственностью, со стихийными силами рынка и вообще со всякой «анархией», все распределяется по единому плану и т. п. Подобные представления лежат в основе критики сущего ранними социалистами-утопистами: даже «божественного порядка» недостаточно, слишком многие и многое отклоняется от него, надо внести в мир еще больше порядка, и тогда все будет хорошо. Этот средневековый идеал унаследовал и марксизм, а через него и мы.

Относительно слабая расчлененность традиционной жизнедеятельности, отраженная в старой картине мира, предопределяет и синкретизм постигающего этот мир сознания. Я писал как-то, что традиционное «соборное сознание не стремится к пониманию внутренней сложности и противоречивости природного и социального мира, позволяет видеть мир только целостным, осмысливать только нерасчлененными блоками. Синкретический менталитет не допускает анализа, социальной самокритики, оценивать для него значит морализировать. Он требует веры, делает возможным истолкование всего сущего только в терминах добра и зла, истинных и неистинных ценностей и т. п.».

Такое сознание не отделяет познание от оценки, теорию от идеологии. Как полагал, например, Толстой, «законная цель наук есть познание истин, служащих к благу людей. Ложная цель есть оправдание обманов, вносящих зло в жизнь человеческую… И тут-то являются разные науки… и оказывается, что дурная жизнь людей не от них, а оттого, что таковы законы, и что дело людей не в том, чтобы перестать жить дурно… а только в том, чтобы живя по-прежнему, по своим слабостям думать, что все худое происходит не от них самих, а от тех законов, какие нашли и высказали ученые…». Толстой защищает, таким образом, морализирование как способ познания.

Вероятностный мир «невидимой руки» Адама Смита

Но времена меняются. Мир – во всяком случае, европейский – за несколько последних столетий пережил очень глубокие трансформации, прежние аграрные общества стали промышленными, сельские – городскими, простые – сложными, непосредственные отношения между людьми – опосредованными невидимым рынком. Для осмысления этого нового мира, намного более сложного и разнообразного, чем прежний, «разрешающей способности» взглядов, основанных на детерминистской картине мира, недостаточно. Потому и преодоление этой

статичной (если смотреть на нее из нашего времени) картины, а вместе с тем и взрывообразное расширение «разрешающей способности» человеческого познания на определенном этапе исторического развития становится неизбежным. Начиная с какого-то момента синкретическое знание уступает место дифференцирующему анализу, способному постичь нарастающее внутреннее разнообразие социума.

Пример такого анализа – рассмотрение Адамом Смитом в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776) небывалых перемен в английской экономике как результата разделения труда и свободы обмена товаров. «Эта книга, ставшая с тех пор, как ее впервые опубликовали, библией нового промышленного капитализма, является одним из великих синтетических общественных заветов, сравнимых с Summa Theologica Фомы Аквинского».

Прорыв Адама Смита – лишь небольшая часть мировоззренческой революции, охватившей все виды познания – как социального, так и естественнонаучного. Она привела к формированию новой картины мира, который уже не строится и не управляется «сверху» по какому-то замыслу, а растет «снизу», как лес или трава, складывается в ходе самоорганизации, рука которой «невидима». Результаты же такой самоорганизации не строго детерминированы, а в лучшем случае лишь предсказуемы с некоторой вероятностью.

Вот как писал об этом Норберт Винер: «Почти безраздельно господствовавшая с конца XVII до конца XIX в. ньютоновская физика описывала Вселенную, где все происходит точно в соответствии с законами; она описывала компактную, прочно устроенную Вселенную, где все будущее строго зависит от всего прошедшего… Теперь эта точка зрения не является больше господствующей в физике…». И далее: «Результатом этой революции явилось то, что теперь физика больше не претендует иметь дело с тем, что произойдет всегда, а только с тем, что произойдет с преобладающей степенью вероятности».

Не удивительно, что все эти огромные перемены – и в самой жизнедеятельности людей, и в их мировоззрении – требуют нового структурирования знаний о мире «разными науками» – потому они и «являются», вытесняя синкретический способ познания мира аналитическим. Описание, объяснение и морализирование, выступавшие прежде единым блоком, отделяются друг от друга, что понижает статус морализирования.

Но, разумеется, синкретизм и морализирование, будучи основательно потеснены анализом, отодвинуты на второй план как компоненты структуры социального знания, не исчезли вовсе. Это неизбежно хотя бы потому, что, как уже говорилось, и сами общества изменились еще не до конца, так что и объективно почти везде существуют основания для обеих картин мира – новой и старой. А на определенном этапе развития каждого общества происходит их столкновение, и тогда возможен временный реванш синкретизма и морализирования. Чистый реванш, конечно, невозможен, а вот компромисс возможен и почти всегда имеет место. Этот компромисс и выливается в пресловутую «научную идеологию» – с моей точки зрения, типичное *contradictio in adjecto*.

Компромисс проявляется в том, что аналитическое познание признаётся и даже одобряется, но перед ним ставится задача конструирования более совершенного мира, причем его априорное совершенство оценивается, исходя из не имманентных анализу моральных критериев. Такой взгляд на задачи социального знания укрепляется по мере того, как аналитическое знание вообще демонстрирует свою практическую применимость. Поэтому не удивительно появление в середине XIX в. знаменитого одиннадцатого «тезиса о Фейербахе» Маркса: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его».

Однако такая постановка задачи предполагает изначальное знание цели, к которой следует стремиться. А это – логика «ньютоновского» мира, заранее детерминированного непреложными законами причинности, а не «дарвиновского» мира, в котором результат есть следствие бесконечного количества проб и ошибок. Что бы мы сказали, если бы исследователю,

наблюдающему эволюцию биологических видов на стадии земноводных, предложили запроектировать ее конечный результат? Мог ли он быть известен уже тогда, если исключить существование Творца?

«Конструктивистская» логика предполагает, что цель развития можно «научно» определить заранее, что есть «творец», это, по существу, религиозная идея, даже если она облечена в совершенно нерелигиозные формы. Ей противостоит идея самоорганизации, предполагающая, что целеполагание «встроено» в сам процесс развития.

Демографические процессы: управление извне или самоорганизация?

Если сказанное верно вообще, то это верно и в частном случае воздействия на демографические процессы. Поэтому споры о таком воздействии становятся полем столкновения «теории» и «идеологии». Более того, много лет участвуя в этих спорах, я постепенно прихожу к убеждению, что в них сталкиваются не столько разные взгляды на демографическую реальность, в частности, на настоящее и будущее рождаемости, сколько более общие мировоззренческие позиции, за которыми стоят разные картины мира: старая и новая.

Один из главных пунктов такого столкновения – вопрос о том, можно или нельзя воздействовать на прокреативное поведение людей с целью повышения рождаемости.

Этот вопрос, как отмечалось выше, волнует умы уже второе столетие. Выполняя «социальный заказ», созданный падением рождаемости, эксперты во всех странах выстраивают кажущуюся вполне естественной цепочку действий: обнаруживается «непорядок» (в данном случае – неудовлетворительный уровень рождаемости) – выясняются причины «непорядка» – предлагаются меры по их устранению.

Следуя далее по этой цепочке, исследователи ищут конкретные «факторы», которые вызывают падение рождаемости, что также кажется совершенно естественным. Вполне логично и не менее долгоживущее предположение, что устранение этих факторов или их видоизменение с помощью каких-то воздействий (демографической политики) может повлиять на уровень рождаемости, в частности, остановить его снижение, а может быть, и добиться его повышения. В рамках этой логики легко объяснимо, например, снижение рождаемости в России в 1990-е годы, и кажутся обоснованными надежды на то, что, по мере преодоления кризисных явлений в экономической и социальной жизни, рождаемость будет снова повышаться.

Но главное звено цепочки – последнее, «конструктивистское». Надо всем господствует идея вмешательства с целью исправления «неправильной» эволюции, убежденность в том, что все можно изменить. «От воли людей зависит, чем закончится процесс разрушения системы ценностей и норм многодетной семьи. Тут два пути – предоставить все самотеку девальвации семейности или же приступить к абсолютно новой политике государства – к исторически беспрецедентной просемейной политике укрепления семьи с несколькими детьми».

И вся цепочка, и каждое ее звено кажутся вполне логичными, особенно в рамках той картины мира, которая предполагает наличие совмещенного центра целеполагания и управления (в приведенной цитате таким уполномоченным центром признано государство), способного контролировать любые социальные процессы. А надо всем, конечно, стоит «теорик», то бишь «идеолог», который лучше других («научно») знает и подсказывает власти, что «нужно» обществу и как избежать «самотека».

Однако не все, что логично, – верно, ибо то, что верно в рамках одной логики, может быть неверно в рамках другой. Вполне логично связывать движение паровоза с работой шатунно-кривошипного механизма, но можно ли объяснять с помощью этой логики функционирование систем, более сложных, чем паровоз? В частности, можно ли использовать ее для объяснения взаимодействия экономических и демографических процессов и предполагать, что изменения

в экономике автоматически влекут за собой однозначные подвижки в демографическом поведении людей и его результатах? Иными словами, правомерно ли считать, что демографические процессы не обладают никакой автономностью, а их изменения представляют собой простую реакцию на внешние по отношению к ним экономические (социальные, политические и т. д.) возмущения?

В это трудно поверить. Демографические процессы относятся к основополагающим, фундаментальным для существования любого общества, они обеспечивают его физическое выживание. Само это предназначение требует достаточно высокой степени защищенности механизмов демографического воспроизводства от влияния экономической или политической конъюнктуры, и такая защищенность несомненно существует. На протяжении истории людям приходилось множество раз сталкиваться с экономическими и социальными потрясениями, куда более тяжелыми, чем российские реформы 1990-х годов, порой такие потрясения резко нарушали нормальный ход воспроизводства населения, но они не разрушали главных демографических механизмов и не изменяли основных принципов демографического поведения. Эти принципы выработаны тысячелетним опытом, закодированы в культуре, в морали, в системе ценностей общества и обладают устойчивостью, которую не могут поколебать разного рода конъюнктурные колебания в условиях жизни, идет ли речь об их ухудшении или улучшении.

То же самое можно сказать и в несколько иной форме. Как вся социальная система, так и ее основные подсистемы, к числу которых относится и демографическая, будучи весьма сложными и обладая развитой и дифференцированной внутренней средой, обнаруживают характерную для всех сложных систем способность к гомеостазу, т. е. к сохранению существенных переменных в некоторых заданных пределах, даже если во внешней среде происходят довольно существенные возмущения. Конечно, такие возмущения не могут совершенно не влиять на внутреннее состояние подсистемы (в частности, скажем, экономический или социальный кризис не может совсем не воздействовать на демографическое поведение), но получение сигналов об изменении внешних условий приводит к возникновению в подсистеме отрицательных обратных связей, которые значительно ослабляют эффект внешних воздействий. А защищенность от внешних воздействий, пусть и относительная, предполагает наличие внутренних, «встроенных» механизмов целеполагания.

Это фундаментальное свойство сложных систем следует учитывать не только тем, кто стремится найти прямую зависимость между демографической динамикой и ухудшением экономической или политической конъюнктуры. Его должны принимать во внимание и те, кто надеется повлиять на эту динамику изменением внешних условий в лучшую сторону, например, с помощью мер пронаталистской демографической политики. Такие меры – тоже внешнее воздействие, от которого массовое демографическое поведение в принципе защищено.

Кому доверять: массовому выбору или «идеологу»?

Гипотеза гомеостатического саморегулирования вовсе не отрицает существования внешних факторов, воздействующих на демографическое поведение. Весь вопрос в том, как много таких факторов и как они взаимодействуют между собой. Отказ от «факторной логики» как раз и связан с признанием того, что таких факторов много, так что вклад одного или двух из них, как бы важны они ни были, ничтожен. При этом все факторы не просто существуют параллельно, а теснейшим образом взаимосвязаны, изменение одного сразу же меняет и все остальные, и образуется новый, непредсказуемый, как в калейдоскопе, узор. Поведение же людей, в том числе и демографическое, откликается на интегральный результат взаимодействия огромного множества «факторов».

Их было много всегда, но усложнение общественной жизни за два-три последних столетия привело к их тысячекратному умножению, так что множество факторов и их непрерывно

меняющихся сочетаний стало просто необозримым. Поэтому стали неэффективными и прежние методы управления демографическим поведением «сверху»: прежние регуляторы недостаточно разнообразны, чтобы контролировать резко выросшее разнообразие поведения.

Ответом на эту новую ситуацию и стали новые механизмы детерминации индивидуального поведения, созданные современными промышленными и городскими обществами. Они намного меньше, чем прежние, связаны с априорным нормативным целеполаганием, жесткими внешними предписаниями, созданными раз и навсегда. Но это не значит, что индивидуальное целеполагание становится абсолютно свободным. Оно, как и прежде, подчинено внутренним целям системы, формирующимся на надындивидуальном уровне в процессе массового взаимодействия людей, определяющих свое место в море безграничного выбора. Только теперь для них каждое решение в демографической области (например, родить или не родить ребенка) зависит от огромного количества других решений, отнюдь не только демографических. Иными словами, демографическими, да и многими другими формами социального поведения людей теперь управляет не жесткое, одинаковое для всех нормативное предписание, а «невидимая рука» «рынка выборов».

Отсюда и особенности нового типа демографического поведения. Главное его отличие от прежнего – не количественное, оно заключается не в том, что раньше рожали много, а теперь – мало. «Сущность указанного перехода заключается в *качественной* перестройке демографического поведения. Важно не то, сколько детей в среднем рождает женщина, а то, насколько число рожденных ею детей и время их рождения суть результат ее (или обоих супругов) *сознательно принятого решения*». Важно, разумеется, для понимания различий в функционировании управляющих поведением социальных механизмов, а не с точки зрения оценки тенденций рождаемости.

Эволюционное преимущество такого типа поведения заключается в том, что он позволяет с гораздо большей полнотой и гибкостью, чем прежний нормативно-закрепощенный его тип, учитывать бесчисленные импульсы, поступающие к каждому из нас от всех бесчисленных «датчиков» социального поля, и принимать решения, более или менее точно отражающие реальную обстановку, складывающуюся систему приоритетов и т. д. В этом смысле новый тип поведения более эффективен.

Соответственно следует с доверием относиться к массовому выбору в любой сфере, в том числе и в демографической. Именно это я имел в виду, когда писал много лет назад: «Динамика демографических показателей, кажущаяся желательной, если рассматривать только кривую частного эффекта, вытекающего из изменения этих показателей, на самом деле может и не отвечать истинным интересам общества, а ориентирующаяся на обеспечение такой динамики демографическая политика оказывается внутренне противоречивой и безрезультатной. Рекомендующий такую политику теоретик-демограф выглядит более ограниченным, чем не очень образованная «средняя» женщина, решающая для себя вопрос о желаемом числе детей и не могущая при этом осознавать более или менее ясно все социальные роли, которые она выполняет. Массовое демографическое поведение управляется массовым демографическим сознанием, которое в свою очередь является частью всего общественного сознания, более или менее адекватно отражающего объективные интересы общества, и по самой своей природе не может быть столь односторонним, сколь односторонни бывают теоретические рекомендации, основанные на неполном знании и абсолютизирующие какую-нибудь одну сторону развития».

Всю эту логику совершенно не воспринимает идеолог-конструктивист. Не допуская мысли, что сам он может быть односторонен, он смело заявляет десяткам и сотням миллионов людей: ваш выбор неверен. «Нельзя обосновывать личный выбор бездетности или однодетности индивидуальным правом на безусловную свободу выбора – лишь бы этот выбор был

рациональным или сознательным. Как ни странно, но именно так вопрос ставится некоторыми теоретиками. “Важно не то, сколько детей в среднем рождает женщина, а то, насколько число рожденных ею детей и время их рождения суть результат… ее сознательно принятого решения”. Число детей как выражение экзистенциальных желаний человека, прямо связанных с существованием нации, человечества может перемещаться вниз иерархии ценностей, заслоняться другими, более престижными приоритетами, такими как рациональность и свобода выбора, равноправие, справедливость и т. д. Это типичный пример игнорирования экзистенциального критерия, выдвижения каких-либо условий, кажущихся более важными, чем само существование».

Таким образом, «идеолог» приписывает себе понимание экзистенциальных критериев, в котором он отказывает человеческому обществу, просуществовавшему как-никак несколько десятков тысячелетий. Он отказывается принять картину мира, в которой нет демиурга, а есть процессы самоорганизации, пренебрежительно называемые им «самотеком». Он сам не прочь занять место демиурга, выступает от лица нации и человечества (что, вообще говоря, совсем не одно и то же). Но не есть ли его позиция все то же «конструирование желаемой, но мнимой реальности, которая выдается за самою действительность»?

Ведь, по существу, единственное бесспорное звено аргументации пронаталистских идеологов – ее отправная точка: снижение рождаемости в некоторых странах – но до сих пор лишь у меньшинства человечества – ниже уровня простого замещения поколений. Главный аргумент: если так пойдет дальше, население вымрет. Аргумент достаточно серьезный, но лишь на первый взгляд. Пока на Земле происходит не сокращение населения, а его рост, причем рост небывало быстрый, и главная проблема – именно в этом. Почему же люди должны вести себя так, будто главная угроза миру – депопуляция? Почему человечество, прожившее всю свою историю в условиях, когда единовременное число живущих на Земле людей не достигало 1 млрд, должно впасть в панику по поводу грядущего обезлюдения планеты, когда численность ее населения перевалила за 6 млрд и продолжает расти?

На этот вопрос обычно следует ответ в том смысле, что нас должно волновать не то, что происходит в мире, а то, что происходит в отдельно взятых странах, в частности в России. Но существуют ли «отдельно взятые страны» в эпоху глобализации? И не улавливают ли рядовые граждане реальные требования и реальные опасности эпохи глобализации, не ориентируются ли они в меняющемся калейдоскопе выборов лучше, чем иные «идеологи»?

Скорее всего, так оно и есть. Но это не может смутить идеолога, избавить его от высокомерного отношения к коллеге-теоретику. Ибо инструмент «теоретика» – знание, его возможности велики, но ограничены. Он понимает, что мир развивается по своим законам, которые нельзя изменить, так что его выводы могут быть и неутешительными, неприятными. Инструмент же идеолога – морализирующая вера, ее возможности неограниченны. Идеолог всегда знает, как сделать, чтобы всем было хорошо, он всегда на коне.

Демографическая революция меняет репродуктивную стратегию вида *homo sapiens*[2]

Смысл демографического перехода

Означая то же самое, что «демографическая революция», термин «демографический переход» преобладает в научной литературе, мы также будем использовать его в этой статье, хотя в конце выскажем некоторые соображения в пользу первого термина.

Примерно за 100 лет развития (если вести отсчет от статьи Адольфа Ландри [Landry 1909], которая вошла впоследствии в его книгу [Landry 1934]), теория демографического перехода получила очень широкое признание. Она постоянно используется при объяснении и прогнозировании демографических процессов на всех уровнях – от локального до глобального и, несмотря на появляющуюся время от времени критику, объявляющую ее неверной, устаревшей и т. п. (см., например, [Marchal 2008]), несомненно относится к числу наиболее авторитетных социальных теорий – и может быть даже не только среднего уровня, как полагал в свое время Д. Коугил [Cowgill 1970: 633].

Однако широкое признание, способное сыграть злую шутку с человеком, может оказаться не менее пагубным и для теории. Оно способствует распространению теории вширь, но не вглубь, ведет к банализации теории и ее использованию больше для описания наблюдаемых фактов, нежели для их понимания. Отсюда – недооценка эвристических возможностей теории даже ее сторонниками, не говоря уже о ее поверхностных критиках.

Подавляющее число авторов довольствуются определением демографического перехода как движения от равновесия высокой смертности и высокой рождаемости к равновесию при низком уровне того и другого и сводят теорию к «модели», описывающей разные этапы (или стадии) этого движения. Разные авторы называют разное число таких стадий (4, 5 или 6), обсуждаются вопросы о факторах, действующих на каждом из этапов перехода, об уровнях рождаемости и смертности, отделяющих один этап от другого, о том, как и когда проходят через эти этапы разные страны (именно так описывается демографический переход, например, в рассчитанных на широкого читателя статьях Википедии). При этом обычно чрезмерно большое значение придается чисто количественным индикаторам перехода.

Все это облегчает упорядоченное описание наблюдаемых фактов и тенденций, но отнюдь не понимание стоящих за этими фактами и тенденциями глубинных перемен, которые при таком подходе вообще выпадают из поля зрения исследователей.

Нас же в этой статье интересуют в первую очередь качественные перемены, составляющие суть демографического перехода и расширяющие круг его последствий далеко за пределы чисто количественных изменений.

К сожалению, интерес к сути этих перемен нельзя отнести к мэйнстриму литературы о демографическом переходе, хотя нельзя и сказать, что он полностью в ней отсутствует. Я мог бы сослаться, в частности, на свою давнюю книгу и более раннюю статью, повторяющие в своем названии заголовок книги А. Ландри [Вишневский 1973[3], 1976]. Я писал, в частности, что «главное в демографической революции – это глубокие качественные изменения всей системы демографического регулирования, а потому и самого демографического процесса» (цит. по: [Вишневский 2005: 199]). Указав на переход от высокого уровня рождаемости и смертности к низкому уровню того и другого, я отмечал, что «воспроизводство населения

[2] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка.

[3] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка.

поднимается на более качественную ступень: оно становится несравненно более рациональным, эффективным, экономичным» [Вишневский 1973: 59]. Но наиболее удачным мне представляется определение, данное М. Ливи Баччи: «Демографический переход может быть охарактеризован как изменение системы, как переход от “диссипативной” системы, связанной с потерей демографической энергии (высокие рождаемость и смертность), к системе, “экономизирующей” эту энергию (низкие рождаемость и смертность)» [Livi Bacci 1995: 451].

Добавление всего нескольких слов, почти не снижая компактности определения, превращает его из чисто описательного в объяснительное, ибо указывает на эволюционную неравноценность до- и послепереходной ситуации и тем самым придает ему универсальность, подобную универсальности физических законов.

Понимаемый таким образом переход к новому типу демографического равновесия – небывалое в истории событие, равного которому не было. По сути, оно изменяет условия существования человека как вида. Сам человек в биологическом смысле не меняется, но претерпевают фундаментальные перемены характеристики размножения *человеческих популяций,* а они тоже относятся к неотъемлемым свойствам вида.

В 1967 г. американские экологи Роберт МакАртур и Эдвард Уилсон [MacArthur, Wilson 1967] предложили различать две принципиально различные стратегии размножения популяций в природе – *r*-стратегию и *K*-стратегию (*r*– и *K*-параметры логистического уравнения Ферхюльста). Не вдаваясь в детали, отметим лишь, что *r*-стратегия предполагает крайне «неэкономное» размножение, производство огромного потомства, в основном обреченного на раннюю гибель, так что до нового цикла размножения доживает лишь ничтожная его часть. *K*-стратегия, напротив, экономична, потомство невелико, зато намного выше его выживаемость. Рыбы мечут миллионы икринок, тогда как потомство млекопитающих измеряется десятками, а то и единицами. Однако судя по тому, что численность популяций в природе на протяжении длительных периодов хотя и колеблется, но в итоге меняется мало, число особей, доживающих до своего цикла производства потомства, скажем, у рыб и у млекопитающих, одинаково.

В реальности ни одна популяция в природе не придерживается *K*-стратегии в чистом виде, в их динамике всегда присутствуют и элементы *r*-стратегии. Но в биологической эволюции в целом прослеживается тенденция к усилению элементов *K*-стратегии. У видов, находящихся на более высоких ступенях эволюционной лестницы, ослабевает зависимость от внешних факторов, все бо льшую роль играют внутренние регуляторы динамики популяций. Их численность становится более устойчивой, амплитуда колебаний сокращается, численность может изменяться в разы, но не в сотни, тем более не в тысячи и даже миллионы раз, что наблюдается у многих насекомых и ракообразных.

Нарастание роли внутренних регуляторов означает повышение экономичности размножения вида, а значит, и его способности использовать жизненные ресурсы, которые все в меньшей степени расходуются на производство потомства, благодаря чему становится возможным рост сложности организации и функционирования организмов и их сообществ.

С появлением человеческого общества к защитным механизмам, созданным природой, добавляются рукотворные, социальные защитные механизмы, «цена» [Вишневский 2005: 184] воспроизводства популяции становится еще меньшей, что означает новый шаг от *r*-стратегии к *K*-стратегии. Это необыкновенно расширяет область свободы и возможности развития человеческого общества, служит одной из главных, если не главной, предпосылкой появления человеческой цивилизации.

На протяжении десятков тысяч лет человеческой истории защитные механизмы, на которые опиралась репродуктивная *K*-стратегия популяций людей, понемногу совершенствовались, не претерпевая при этом принципиальных изменений. Смертность европейцев в середине II тысячелетия н. э. мало отличалась от смертности донеолитических охотников и собирателей, а тем более представителей античных цивилизаций. Фундаментальный прорыв начался только

в конце XVIII в. и означал подлинный триумф *K*-стратегии – резкое повышение эффективности воспроизводства населения практически до максимально возможного уровня. Элементы *r*-стратегии практически исчезают.

Курица или яйцо?

Разумеется, все эти перемены произошли не сами по себе, они стали итогом тысячелетий экономического и социального развития человечества. Однако, возможно, именно они стали *самым важным,* хотя все еще недостаточно осознанным его итогом. Историки и общественное мнение придают несравненно большее значение политическим, экономическим или социальным переменам Нового и Новейшего времени, таким глобальным процессам, как урбанизация, промышленная или научно-техническая революция, возникновение постиндустриального общества в новейший период истории и т. п. Но только плохо замеченное формирование в тени всех этих перемен новой репродуктивной стратегии человеческих популяций затрагивает основы существования человека как вида и в этом смысле не только не уступает по своей фундаментальности и влиянию на будущее величайшим экономическим или политическим революциям, но, скорее всего, превосходит их.

Изменения произошли в демографической области, но они оказались настолько глубокими, что не могли не затронуть все стороны жизни людей, не наложить отпечатка на все правила человеческого общежития, на нормы социального контроля, на культуру. Все должно измениться и действительно меняется, но осознание истинных причин этих изменений дается теоретикам с большим трудом, что обусловлено хронической недооценкой самостоятельности демографического фактора.

В силу исторических особенностей России у нас такая недооценка ассоциировалась с марксистской, впрочем, скорее, псевдомарксистской научной традицией. Ф. Энгельс писал в свое время, что «согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является, в конечном счете, производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает двоякого рода. С одной стороны – производство средств к жизни: предметов питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой – производство самого человека, продолжение рода. Общественные порядки, при которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны, обусловливаются обоими видами производства: ступенью развития, с одной стороны – труда, с другой – семьи» [Энгельс 1961: 25–26]. У Энгельса нет слова «демография», тогда еще малоизвестного, но то, что он ставит «продолжение рода» в один ряд с «производством средств к жизни», можно истолковать как признание самостоятельности и первостепенной важности того, что теперь мы бы назвали демографическим фактором.

В СССР, несмотря на авторитет Энгельса, подобная точка зрения не была популярной. Одно время приведенная цитата «классика марксизма» (редчайший случай) сопровождалась «корректирующим» редакционным примечанием: «Энгельс допускает здесь неточность, ставя рядом продолжение рода и производство средств к жизни в качестве причин, определяющих развитие общества и общественных порядков» [Маркс, Энгельс 1948: 160–161]. По сути, здесь без ссылки на первоисточник повторено рассуждение К. Каутского: «Это простая игра словом “производство”… То, что Энгельс называет изменениями естественного процесса размножения – изменение форм семьи и брака – …представляет результаты, а не движущие силы общественной эволюции. Все это вызвано изменениями не в технике размножения, а в технике производства средств существования… Изменения в этой области производства, в конечном счете, одни только и вызывают все изменения общественных форм и предопределяют историю» [Каутский 1923: 119].

После смерти Сталина редакционное примечание исчезло из публикаций работы Энгельса, но не из голов советских исследователей, которые продолжали бороться против «ложных представлений о самодовлеющей природе демографических процессов… тогда как в действительности речь идет о закономерных демографических сдвигах под влиянием социально-экономического развития» [Гузеватый 1980: 30].

Хотя западные теоретики демографического перехода, как правило, не были марксистами и, скорее всего, ничего не знали об этой внутримарксистской полемике, их позиция удивительным образом совпадает с позицией Каутского. По утверждению Дж. Колдуэлла, его исследования в странах Африки и Азии показали, что тип экономики определял культуру, религию и демографическое поведение населения этих стран. «Ясно, – замечает он, – что это сродни использованию Карлом Марксом понятия “способ производства”, которое мы также будем использовать» [Caldwell 2006: 6]. При этом «производство материальной жизни» он трактует скорее по Каутскому, а не по Энгельсу, демографическое у него попадает не в «базис», а в «надстройку».

Сам факт рассмотрения «демографического перехода» или «демографической революции» как особого исторического феномена свидетельствует, конечно, о признании его эпохальной важности, но далеко не всегда – о признании его самостоятельной внутренней логики. «Эта внутренняя логика не привлекает внимания демографов, которые истолковывают такие перемены лишь как следствие различных социальных сдвигов, недемографических по своей природе» [Vishnevsky 1991: 267].

Хорошей иллюстрацией такого подхода служит противопоставление «описательного» и «объяснительного» аспектов теории демографического перехода Ж.-К. Шене. Первый из них «относится к внутренней динамике населения: он касается влияния смертности на рождаемость», что, как замечает Шене, было подмечено еще в XIX столетии, так что идея перехода «существовала в зародыше уже тогда», но это была не более чем констатация факта. Второй же аспект, особенно когда речь идет о снижении рождаемости, требует обращения к социально-экономическим, культурным, социально-политическим и т. п. детерминантам, которые и дают «объяснение» [Chesnais 1986: 6–8].

Подобный взгляд на суть демографического перехода не преодолен и сейчас. Как замечает в недавней статье Дэвид Реер, «исследователи демографического перехода… гораздо меньше внимания уделяли демографическому переходу как причине, а не следствию процесса преобразования общества. В результате историки и социологи привыкли считать демографические реалии напрямую зависимыми от экономического воздействия и никак иначе. Я же утверждаю, что во многих вопросах демографический переход необходимо рассматривать как ключевой фактор изменений. Демографический переход должен быть изучен как автономный процесс, завершившийся глубинными социальными, экономическими и даже психологическими или мировоззренческими воздействиями на общество. Демографию нужно рассматривать как независимую переменную» [Reher 2011: 11–12].

К сожалению, нынешнее состояние теории демографического перехода затрудняет его ви дение как целостного автономного процесса, имеющего свою внутреннюю детерминацию и активно воздействующего на все социальные процессы, в том числе и на глобальном уровне. О понимании же истинной важности демографического перехода как фундаментального сдвига в репродуктивной стратегии Человека как вида, равно как и неизбежных последствий этого сдвига и их масштабов, пока не приходится даже говорить.

Это не значит, что теория демографического перехода оставалась неизменной, на протяжении 100 лет своего существования она совершенствовалась, обогащалась, развивалась. Однако это развитие не было вполне органичным. Скорее оно напоминало расширение дома путем постоянного добавления к нему разного рода пристроек, каждая из которых рассмат-

ривала себя как самостоятельное здание, сохраняющее некоторую связь с основным домом, но отнюдь не являющееся частью единого целого.

Среди этих пристроек мы находим «эпидемиологический переход», «второй демографический переход», «третий демографический переход», наряду с этим говорят о «контрацептивной революции», «кардиоваскулярной революции» и т. д. Теория, по сути, распадается на отдельные части, и при этом утрачивается концептуальное единство в интерпретации наблюдаемых фактов. «Дробление» единого демографического перехода на множество отдельных переходов ведет к тому, что при анализе каждого из них развивается самостоятельная аргументация, оторванная от корней «материнской» теории.

Эпидемиологический переход

Так произошло, в частности, с теорией эпидемиологического перехода А. Омрана. Обычно она воспринимается как имеющая отношение только к объяснению механизмов и особенностей снижения смертности на протяжении последних столетий, однако замысел самого Омрана был иным. Его главная статья называется «The Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change» [Omran 1971][4]. Он трактовал термин «эпидемиологический» как указывающий на сущность массовых явлений и полагал, что «многие эпидемиологические методы, применение которых до сих пор ограничивалось рассмотрением особенностей здоровья и заболеваемости, могут быть с успехом применены и к исследованию других массовых явлений, в том числе и регулирования рождаемости» [Omran 2005: 731].

Возможно, использование в названии статьи выражения «эпидемиологический переход» было удачной «маркетинговой» стратегией, позволившей Омрану прочно связать свое имя с этим понятием, но, по сути, его статья содержит анализ все того же демографического перехода, и притом анализ очень проницательный и, как мне кажется, недооцененный. В обзорах по истории собственно демографического перехода его имя обычно не упоминается.

От других статей, посвященных демографическому переходу, работа Омрана действительно отличается ощутимо бо льшим вниманием к снижению смертности и новаторским исследованием этой составляющей демографического перехода. Но при этом он с самого начала заявляет, что стимулом для развития теории эпидемиологического перехода стали «ограниченность теории демографического перехода и необходимость комплексного подхода к демографической динамике» [Omran 2005: 732], и именно тот факт, что «смертность является фундаментальным фактором демографической динамики», выступает в качестве главной посылки теории эпидемиологического перехода (The theory of epidemiologic transition begins with the major premise that mortality is a fundamental factor in population dynamics) [Ibid.: 733]. «Основная задача состоит не только в том, чтобы описать и сопоставить переходы по смертности в различных обществах, но, что более важно, в том, чтобы предложить теоретический взгляд на процесс демографических изменений, соотнося модели смертности с демографическими и социально-экономическими тенденциями» [Ibid.: 755].

Омран постоянно возвращается к воздействию снижения смертности на рождаемость, подчеркивая, что «повышение выживаемости младенцев и детей подрывает комплекс социальных, экономических и эмоциональных оснований заинтересованности индивидов в большом числе рождений (high parity), а тем самым и общества – в высокой рождаемости. Как только супруги становятся практически полностью уверенными в том, что их потомство, особенно сын, переживет их самих, возрастает вероятность ограничения рождаемости» [Ibid.: 749]. Выделяя три стадии изменений смертности в процессе демографического перехода, Омран

[4] Теория // БСЭ. Т. 25. С. 434.

отмечает, что на третьей, последней из них, которую он называет стадией дегенеративных и антропогенных заболеваний, «смертность продолжает снижаться и в конце концов приближается к стабилизации на относительно низком уровне. Средняя продолжительность жизни при рождении постепенно растет, пока не превысит 50 лет. Именно на этой стадии рождаемость становится решающим фактором роста населения» [Ibid.: 738].

Последняя фраза важнее двух предыдущих, но ей обычно не придают большого значения. Авторы, обращающиеся к концепции эпидемиологического перехода, как правило, связывают ее только с изучением смертности. Они отдают должное предложенной А. Омраном концептуализации, которая открыла путь к переосмыслению очевидного факта количественного снижения смертности в терминах эволюции структуры причин смерти, вследствие которой происходит «не только переход от одной доминирующей структуры патологий к другой, но также радикально трансформируется возраст смерти» [Mesle, Vallin 2002: 440]. В то же время они пытаются развивать и видоизменять саму концепцию. Считая ее привязанной к реальностям конца 1960-х годов и потому устаревшей, они предлагают увеличить число стадий [Olshansky 1986] или даже в принципе изменить сам подход к их классификации, заодно изменив и название концепции с тем, чтобы «объединить в более широком представлении о санитарном переходе первую (описанную Омраном) фазу роста продолжительности жизни в основном за счет снижения смертности от инфекционных болезней и вторую фазу, определяющуюся снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, и оставить открытой дверь для последующих фаз» [Mesle, Vallin 2002: 444].

Как бы ни относиться ко всем этим предложениям, нельзя не видеть, что стадия, на которой «рождаемость становится решающим фактором роста населения», все равно остается там, куда ее поместил Омран. В этом смысле никакие последующие изменения смертности ничего принципиально не меняют. В то же время, если говорить о «переименовании» эпидемиологического перехода, возникает вопрос, всегда ли оправдано использование представлений о «переходе» или «революции». Если каждое изменение называть «революцией», то теряет смысл понятие эволюции. Любой переход или любая революция имеют начало и конец, но это совсем не значит, что после их окончания развитие прекращается. Правильно ли ставить в один ряд небывалый в истории сдвиг и обычные эволюционные изменения, пусть даже и очень важные?

Концепция эпидемиологического перехода помогает понять «анатомию» исторических изменений смертности как ключевого механизма, запускающего весь демографический переход. В этом смысле она «вмонтирована» в общую теорию демографического перехода, становится одной из ее частей. Но, будучи выведенной за пределы анализа демографического перехода, она теряет свою эвристическую силу. Для исследования последующих изменений смертности в ней нет необходимости.

Другое дело, что концептуализация Омрана способствовала более структурированному подходу к изучению смертности и ее изменений как демографического феномена. Само собой разумеется, что эти изменения имеют свои этапы, нуждаются в своей периодизации, в них тоже могут быть свои «революции» и т. п. Например, Милтон Террис говорит о двух эпидемиологических революциях [Terris 1985], французские демографы, как мы видели, подчеркивают важность «кардиоваскулярной революции», исследователи рождаемости пишут о «контрацептивной революции» [Leridon et al. 1987] и т. д. Но это – «революции» уже совсем иного уровня. Возможно, внимание к ним связано с подмеченным Колдуэллом общим сдвигом демографической теории за последние полвека от «большой теории» к теории краткосрочных изменений [Caldwell 2006: 301].

Нет сомнения, что исследователи смертности сами разберутся в том, что они могут взять из теории эпидемиологического перехода, а в чем могут обойтись без нее. Для нашей же темы важно осознание эпидемиологического перехода как ключевого механизма, запустившего цеп-

ную реакцию небывалых перемен в репродуктивной стратегии человечества, как важнейшего звена единой цепочки трансформаций, из которых складывается демографический переход.

«Первый демографический переход»

В 1986 г. Р. Лестег и Д. ван де Каа впервые сформулировали свою концепцию «второго демографического перехода» [Lesthaeghe, van de Kaa 1986], которая вскоре получила широкую известность, благодаря публикации Д. ван де Каа в «Демографическом бюллетене ООН» в 1987 г. [van de Kaa 1987]. О «втором демографическом переходе» речь пойдет ниже, сейчас же отметим, что появление этой концепции потребовало объяснения того, что следует понимать под «первым демографическим переходом», поскольку до тех пор такого понятия не существовало.

Из тогдашних разъяснений ван де Каа, равно как и из сравнительно недавней статьи Лестега [Lesthaeghe 2010] можно понять, что главное содержание «первого демографического перехода» – снижение смертности и последовавшее за ним снижение рождаемости до уровня, обеспечивающего примерно нулевой прирост населения, что произошло в Европе, в основном, еще до Второй мировой войны [van de Kaa 1987: 4–5; Lesthaeghe 2010: 247] (заметим, что исторически это примерно соответствует тому, что Омран назвал третьей стадией эпидемиологического перехода, но только он дальновидно говорил не о «нулевом приросте», а лишь о том, что «на этой стадии рождаемость становится решающим фактором роста населения»).

Но кроме этой чисто описательной характеристики, не идущей дальше простой констатации факта, в работе ван де Каа есть еще и объяснение механизма «первого перехода к низкой рождаемости». Называя в качестве «косвенных детерминант» этого перехода индустриализацию, урбанизацию и секуляризацию, он пишет далее: «Переход от семейного производства к наемному оплачиваемому труду, который сопровождал индустриализацию и урбанизацию, снизил экономическую полезность детей. Они больше не могли служить в качестве дешевой рабочей силы для родительских фермы или бизнеса, но зато требовали инвестиций в образование и подготовку, чтобы дать им реальный шанс в жизни. Как утверждает австралийский демограф Джон Колдуэлл, “чистый поток богатства” идет теперь в пользу детей, а не родителей. Кроме того, большое число детей может означать размывание семейного имущества, такого как земля, после смерти родителей, так что контроль над рождаемостью стал разумной стратегией. Секуляризация уменьшила влияние церкви и повысила готовность супружеских пар практиковать планирование семьи» [van de Kaa 1987: 5].

В данном случае ван де Каа следует уже сложившейся традиции. В другой своей статье [van de Kaa 2010] он приводит объяснение снижения рождаемости одним из основоположников теории демографического перехода Ф. Ноутстайном, ссылаясь на его публикацию 1945 г. [Notestein 1945], которую он называет «классической статьей о первом демографическом переходе». Согласно Ноутстайну рождаемость стала снижаться «в ответ на резкие изменения социальной и экономической среды, которые в корне изменили мотивы и цели людей в отношении размера семьи». В числе этих изменений – «рост индивидуализма», «повышение притязаний, развивающееся в условиях городской жизни», потеря семьей ее функций, большие расходы многодетных семей, освобождение от «старых табу» и «забота о здоровье, образовании и материальном благополучии каждого ребенка». В итоге Ноутстайн приходит к выводу, что «снижение рождаемости требует сдвига в социальных целях – от направленных на выживание группы к тем, которые направлены на благополучие и развитие личности».

Нет сомнений, что все факторы, называемые и Ноутстайном, и ван де Каа, и многими другими авторами, играли роль в снижении рождаемости. Однако для того, чтобы их назвать, не нужна никакая теория, их может перечислить, пусть и не с такой полнотой, любой «человек с улицы». В басне Эзопа Ослица упрекала Львицу за то, что у той мало детей. На что Львица

отвечала: «Это правда, я рождаю только одного детеныша в три года, но зато я рождаю Льва!». Известны слова Полибия, что «люди испортились, стали тщеславны, любостяжательны и изнежены, не хотят заключать браков, а если и женятся, то не хотят вскармливать прижитых детей, разве одного-двух из числа очень многих, чтобы этим способом оставить их богатыми и воспитывать в роскоши» [Полибий 1995: 9]. Значит ли это, что Эзопа или Полибия надо зачислить в предтечи теории демографического перехода?

Внутренняя логика теории демографического перехода заключается в том и только в том, что, если говорить о снижении рождаемости, оно рассматривается как неотвратимый этап цепной реакции, запущенной небывалым и необратимым снижением смертности, как необходимый ответ на вызванное этим снижением нарушение демографического равновесия в пределах некоторой территории.

Временные и локальные случаи такого нарушения нередко встречались и прежде, история знает четыре регулятора, обеспечивающие восстановление равновесия [Livi Bacci 1995: 453–455]: (1) новое повышение смертности, иногда намеренное (детоубийство); (2) эмиграция; (3) снижение рождаемости через брачность («мальтузианское» решение); (4) регулирование рождаемости современного типа («неомальтузианское» решение). Все эти регуляторы были испробованы, и тогда, когда снижение смертности приобрело всеобщий и необратимый характер, и оказалось, что только «неомальтузианский» регулятор, менее всего использовавшийся в прошлом, способен дать адекватный ответ на новые вызовы и обеспечить реальный переход к более эффективной репродуктивной стратегии вида *Homo sapiens*.

Никаких других объяснений современной низкой рождаемости не требуется, и казалось бы, об этом знают все демографы, знакомые с теорией демографического перехода. Но парадоксальным образом зачастую совершенно очевидная связь между снижением рождаемости и снижением смертности в их рассуждениях едва прослеживается, тогда как главные силы направлены на выявление экономических и социальных детерминант снижения рождаемости.

На самом же деле речь идет не о детерминантах, а в лучшем случае о промежуточных механизмах, хотя, мне кажется, и это будет преувеличением их роли. Урбанизация, современное образование, изменение экономического и социального положения женщины и многое другое было бы невозможно при прежнем демографическом режиме, они в такой же мере причина снижения рождаемости, как и их следствие. Другое дело, что, раз начавшись, все эти модернизационные процессы создают социокультурные механизмы, способствующие снижению рождаемости через изменение *типа* прокреативной мотивации все большего числа людей. Однако эти механизмы – не специфические, затрагивают не только прокреативное поведение, они вообще в корне меняют преобладающий тип мотивации человеческого поведения, и еще неизвестно, что больше способствует этой смене, – политические и промышленные революции, урбанизация или сама «демографическая революция» как самостоятельный ответ на возникший исторический императив.

Главный порог, отделяющий регулируемую рождаемость от нерегулируемой, – это именно *тип* мотивации человеческого поведения, и переход к регулируемой рождаемости *требует* изменения типа мотивации, но как раз это обстоятельство постоянно игнорируется демографами. Это очень хорошо видно в популярной среди демографов позиции Дж. Колдуэлла, на которого часто ссылаются при объяснении причин снижения рождаемости (мы видели такую ссылку у ван де Каа). «В обществе любого типа и на любой стадии развития прокреативное поведение (fertility behavior) рационально, и рождаемость, когда она высока, так же как когда она низка, есть следствие того, что именно такая рождаемость экономически выгодна индивиду, супружеской паре или семье. Какая именно рождаемость экономически рациональна, определяется социальными условиями, прежде всего межпоколенным потоком богатства. Этот

поток был направлен от младших поколений к старшим во всех традиционных обществах», а затем «повернул на 180°» [Caldwell 1976: 355].

Насколько оправдана такая универсализация экономической рациональности? Со времен Макса Вебера известны два типа рационального действия: ценностно-рациональное и целерациональное. Первое характеризуется тем, что человек действует «невзирая на возможные последствия, следует своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте, религиозных предначертаниях, благочестии или важности "предмета" любого рода. Ценностно-рациональ ное действие… всегда подчинено "заповедям" или "требованиям", в повиновении которым видит свой долг данный индивид». Напротив, «целерационально действует тот индивид, чье поведение ориентировано на цель, средства и побочные результаты его действий, кто рационально *рассматривает* отношение средств к цели и побочным результатам и, наконец, отношение различных возможных целей друг к другу» [Вебер 1990: 629].

Свойственное всем допромышленным обществам безусловное преобладание цен ностно-рациональной мотивации – следование канону, традиции, рели гиозной заповеди – чрезвычайно ограничивало свободу индивидуального выбора человека во всем. Небывалые перемены, происходившие в европейских обществах, по крайней мере с конца XVIII в., впервые потребовали массового распространения иной, целерациональной мотивации, делающей свободный выбор и возможным, и необходимым. Говоря об этих переменах, обычно указывают на их экономическую, социальную, политическую или культурную составляющие, без которых «рождаемость осталась бы в значительной степени в области сакрального, а не стала бы областью индивидуальной свободы выбора» [Lesthaeghe 1983: 412]. Но собственно демографическая составляющая, как правило, не включается в этот список. Между тем она, может быть, самая главная, потому что связана с самой массовой практикой, с необходимостью делать выбор буквально для каждой семьи.

Идея сознательного регулирования рождаемости появилась раньше признания свободы индивидуального выбора в этой области. На какое-то время инструментом такого регулирования стала «европейская» брачность – поздняя и не всеобщая [Хаджнал 1979], и Мальтус, выступавший как ее горячий пропагандист именно из соображений ограничения потомства, был в то же время категорическим противником свободы прокреативного выбора. «Если бы каждая супружеская пара могла по своему желанию ограничивать число своих детей, то, несомненно, тогда имелись бы все основания опасаться, что среди людей слишком распространится праздность; и что ни население отдельных стран, ни население всей земли в целом никогда не достигнут своей естественной и должной численности» [Malthus 1826, App. II.14].

На протяжении какого-то времени рекомендуемая Мальтусом (но не им придуманная) «европейская брачность» казалась достаточно эффективной. Еще в конце XIX в. рождаемость в Западной Европе была намного ниже, чем, например, в России, не знавшей европейской брачности, хотя внутрисемейное регулирование деторождения (birth control) в большинстве европейских стран было так же слабо распространено, как и в России.

Не забудем, однако, что первое издание книги Мальтуса появилось в один год с публикацией брошюры Дженнера о прививке коровьей оспы (1798), небывалое снижение смертности только начинало свой путь. Дальнейшее стремительное продвижение по этому пути заставило европейские общества осознать, что ни один из трех более или менее привычных регуляторов – подъемы смертности (которые стали исчезать), поздняя и не всеобщая брачность, эмиграция – уже неспособны восстановить все более нарушавшееся по мере снижения смертности демографическое равновесие. Оставался четвертый вариант – «неомальтузианский».

Изначально неомальтузианство, не сразу получившее такое название, совмещало протест против поздних браков с пропагандой контроля рождаемости в браке. Фрэнсис Плейс адресовал свои пропагандистские брошюры «супругам обоего пола» и, конечно, не собирался подрывать таким образом основы брака и современной ему семьи. Напротив, он считал, что

укрепляет их, уменьшая риск внебрачных связей, неизбежных в условиях противоестественного «морального воздержания» при поздних браках. Примерно так же рассуждал Роберт Оуэн и другие первопроходцы регулирования деторождения внутри семьи.

Однако могла ли семья, вступив на путь внутрисемейного регулирования деторождения, остаться такой же, какой была прежде? Едва ли.

«Второй демографический переход»

Сейчас уже ясно, что за последние 100 лет семья и в самом деле претерпела огромные изменения, которые, видимо, еще не закончились. Именно на трансформацию «классической» европейской семьи обращают внимание авторы концепции «второго демографического перехода». Согласно ван де Каа главная демографическая черта этого «второго» перехода – падение рождаемости в европейских странах ниже уровня замещения поколений [van de Kaa 1987: 5]. Но основное внимание он сосредотачивает на сопровождающих это падение переменах, переживаемых семьей: сожительства теснят традиционный брак; в центре семейной жизни оказываются не интересы ребенка, а интересы родителей («сдвиг от эры ребенка-короля с детьми к эре королевской супружеской пары с ребенком»); предупреждение случайного зачатия уступает место намеренному зачатию как элементу самореализации родителей; на место единой стандартной формы семьи и домохозяйства приходят их плюралистические формы [Ibid.: 11]. Начало «второго демографического перехода» ван де Каа датирует серединой 1960-х годов, сегодня список перемен можно существенно расширить и детализировать. Однако в данном случае нас интересует не сам бесспорный факт трансформации института семьи и семейных отношений, а его объяснения.

Если, рассуждая о «первом демографическом переходе», ван де Каа, как мы видели, связывал его с индустриализацией, урбанизацией и секуляризацией, то для «второго демографического перехода» он ищет *другие* детерминанты, без этого нельзя говорить не просто об очередном этапе разворачивающегося процесса, а о новом достаточно самостоятельном феномене. Нужно, стало быть, выявить специфические детерминанты «второго» перехода. Вот как характеризуются эти детерминанты. «Растущие доходы, экономическая и политическая защищенность, которые демократические государства всеобщего благосостояния предлагают своим населениям, сыграли роль спускового крючка для “тихой революции” … Индивидуальные сексуальные предпочтения принимаются такими, как они есть, и решения о совместной жизни, разводе, аборте, стерилизации и добровольной бездетности остаются на усмотрение индивидуумов и семейных пар» [van de Kaa 1996: 425]. Лестег также подчеркивает, что, начиная с публикации ван де Каа 1980 г., и ван де Каа, и он сам постоянно указывали, ссылаясь, в частности, на статью Ф. Ариеса [Ariès 1980], на изменяющуюся мотивацию к рождению детей – «детоцентристские» устремления семьи эпохи «первого» перехода сменяет семья, ориентированная на самореализацию родителей [Lesthaeghe 2010: 213].

Таким образом, «спусковой крючок» снова обнаруживается в экономической, социальной и политической сферах, а не в цепи последовательных событий, заданных самими демографическими изменениями. Мне же кажется, что если исходить из внутренней логики теории демографического перехода, то «спусковой крючок», скорее всего, был совсем другим и нажат он был значительно раньше. Даже если не говорить об эпидемиологическом переходе, изначально запустившем все изменения в демографическом бытии людей, то обусловленный им переход к «неомальтузианскому» регулированию деторождения не оставлял шансов на сохранение традиционной семьи в неизменном виде.

Существует несомненная корреляция между изменениями семейных нравов, статуса и форм брака и семьи, социальных ролей родителей, всем тем, что можно назвать «демографическим поведением» людей, с одной стороны, и ослаблением влияния религиозных норм,

ростом индивидуализма, стремлением людей к самореализации и распространением «постматериалистических ценностей» и т. д. – с другой, о чем пишут авторы концепции «второго демографического перехода». Но вопрос заключается в том, *где причина, а где следствие* этих перемен.

Для того чтобы объяснить, почему теперь люди трассируют свои индивидуальные жизненные траектории не так, как прежде, не нужны специальные экономические или социологические аргументы, они избыточны. Из основного постулата теории демографического перехода о смене типа демографического равновесия и без того естественным образом следует, что прежние жесткие социальные требования к таким траекториям утрачивают смысл. Возвращение к равновесию невозможно без полной перестройки всей структуры демографического поведения, «именно в структуре демографического поведения, равно как и в структуре и методах социального контроля над ним, произошел подлинный переворот, который и привел к возникновению и утверждению нового типа рождаемости» [Вишневский 2005: 99].

На протяжении многих столетий в допромышленной Европе, да, видимо, и во всех зрелых аграрных обществах, краеугольным камнем семейной жизни и семейной морали было неразрывное единство трех видов поведения: сексуального, матримониального и прокреативного [Там же: 98–99]. Конечно, это было нормативное единство, в жизни оно нередко нарушалось. Тем не менее такие нарушения всегда трактовались как предосудительное исключение из правил, как осуждаемые господствующей культурой маргинальные формы поведения, в массовой повседневной практике всех слоев общества соблюдались нормативные установки культуры.

Переход к контролируемому семьей деторождению делал сохранение этого единства невозможным, а «разрыв связи между браком и прокреацией», о котором Лестег пишет как о проявлении «второго демографического перехода» [Lesthaeghe 2010: 211], – неизбежным. В автономизации прокреативного поведения заключается сама суть демографического перехода на его неомальтузианской стадии, а такая автономизация естественным образом влечет за собой обособление друг от друга всех трех прежде неразрывных видов поведения – сексуального, матримониального и прокреативного. Сделавшись относительно самостоятельными, эти три вида поведения стали прокладывать свои собственные траектории в каждой индивидуальной биографии, что создало возможности бесконечной вариабельности индивидуальных жизненных путей, более того, сделало эту вариабельность неизбежной.

Таким образом, «второй демографический переход» – вовсе не отдельный процесс со своими собственными независимыми детерминантами, а лишь закономерный этап развития демографического перехода, к которому с необходимостью приводит цепная реакция, запущенная снижением смертности.

Общества, достигшие этого этапа демографического перехода, оказываются в совершенно новой исторической ситуации и с неизбежностью вступают в полосу поиска, в котором участвуют сотни миллионов, а может быть, и миллиарды семей на протяжении нескольких поколений, постепенно преодолевая инерцию прошлого, отказываясь от сложившихся установлений и вырабатывая новые институциональные формы и новую культурную регламентацию индивидуальной, частной, личной жизни людей, трассирования их индивидуального жизненного пути. Постоянно и повсеместно возникающие попытки противостоять переменам, взывая к опыту прошлого, абсолютно бесперспективны, потому что больше нет этого прошлого.

Поиск ведется единственным возможным в таких случаях путем – методом проб и ошибок, опробуются самые разные варианты адаптации к новым демографическим и социальным реалиям, в этом поиске реализуется социокультурный отбор наиболее конкурентоспособных, эффективных форм и норм [Вишневский 1986: 239–242; Vishnevsky 1991: 267].

Статистика и исследования фиксируют, по крайней мере в странах европейской культуры, первой испытавшей влияние демографического перехода, все более частое и раннее

добрачное начало половых отношений, никак не связанное с намерением вступить в брак. Наряду с привычным единственным типом брака, начинающегося с регистрации и продолжающегося до конца жизни одного из супругов, получают распространение нерегистрируемые браки, «партнерства», начавшиеся без регистрации, а затем либо распадающиеся, либо зарегистрированные как брак, либо продолжающиеся без регистрации. Множатся повторные браки как после формального развода, если брак был зарегистрирован, или после овдовения, так и после прекращения предыдущего официально не оформленного сожительства, причем повторные браки еще чаще, чем первые, могут оставаться незарегистрированными, не переставая от этого быть браками. Появляются и другие «нестандартные» формы совместной жизни. Кстати, ничего нового во всех этих формах нет, практически все они существовали в разные эпохи и в разных культурах. Новизна заключается в том, что они существуют одновременно в одном и том же обществе и получают культурную санкцию.

Поиски идут не только по оси «брачные партнеры», но и по оси «родители – дети». Внимание, в первую очередь, привлекает низкая рождаемость, на самом деле перемены гораздо более многообразны. Идет поиск наиболее удобного времени рождения детей, увеличивается число неполных семей, стремительно растет доля детей, рожденных вне зарегистрированного брака, появляется все больше детей, которые как бы принадлежат сразу нескольким семьям, потому что развод родителей и их вступление в новые браки уже не считается катастрофой, и дети сохраняют связь с обоими родителями. Перестает быть экзотикой отделение биологического родительства от социального и размывается или трансформируется само понятие родительства.

Все это новое многообразие требует постоянного наблюдения и изучения, в нашу задачу входит лишь подчеркнуть изначальную демографическую природу этих перемен, их фундаментальную обусловленность переходом человечества к новой репродуктивной стратегии.

Рождаемость снижается во всем мире, а семья входит в полосу небывалых трансформаций не потому, что женщины стали учиться, работать за зарплату, стремиться к самореализации, использовать современные противозачаточные средства или отказываться связать свою жизнь навеки с непроверенным партнером. Напротив, все это стало возможным благодаря тому, что отпала прежняя необходимость в непрерывном рождении детей, огромная доля которых не выживала. Исполнение «демографического долга» теперь требует от человека гораздо меньшего времени и сил, резко расширилась область индивидуальной свободы, не ограниченной объективными демографическими требованиями, и перед каждым открылись возможности выбора индивидуального жизненного пути, каких не существовало никогда прежде.

«Третий демографический переход»

Появившаяся относительно недавно концепция «третьего демографического перехода» – еще один пример претендующей на самостоятельность «пристройки» к зданию теории демографического перехода. Как и в случае со «вторым демографическим переходом», сомнение вызывает не сам термин – и в том и в другом случае он указывает на важный специфический этап единого демографического перехода и тем способствует его осмыслению, – а его «изолированная» интерпретация.

Согласно Дэвиду Коулмену третий демографический переход – это, прежде всего, изменение этнического, культурного и т. п. состава населения принимающих стран в результате иммиграции. Предпосылки для такой иммиграции создает низкая рождаемость в принимающих странах, население которых не воспроизводится. Они вынуждены восполнять убыль населения, принимая большое количество мигрантов, что и формирует феномен «третьего демографического перехода» [Coleman 2006].

Коулмен подчеркивает, что в отличие от «первого» «третий демографический переход» не универсален, он затрагивает только развитые страны с низкой рождаемостью, а обусловленные им изменения не симметричны: состав населения развитого мира станет больше напоминать население развивающегося мира, но не наоборот [Ibid.: 428]. При этом он полагает, что подобное развитие событий не неизбежно, прогнозы, предсказывающие массовый приток мигрантов, «не высечены в камне», и с помощью правильной политики их можно избежать [Ibid.: 417–419].

Конечно, изменения этнического состава в развитых и развивающихся странах вследствие миграции с Юга на Север будут несимметричными, но не менее асимметрична и идея третьего демографического перехода в ее нынешнем виде. Хотя Коулмен упоминает о незавершенности демографического перехода в странах Юга как одной из движущих сил миграционных процессов, вокруг которых строится вся концепция «третьего перехода», в целом он уделяет этой «движущей силе» чрезвычайно мало внимания. Его убежденность в том, что пример властей Нидерландов или Дании, пытающихся сдерживать иммиграцию в их страны, указывает путь, следуя по которому можно затормозить этот переход, говорит о том, что он считает эту силу не слишком существенной. Вся его концепция отражает понятную озабоченность развитых стран растущим миграционным давлением со стороны развивающегося мира, но почти не касается глобальной демографической ситуации, делающей такое давление неизбежным, будучи при этом прямым следствием, а еще точнее, закономерным этапом глобального демографического перехода, в конечном счете, – гигантской мутации человечества, меняющего репродуктивную стратегию.

Как замечает Коулмен, «концепция перехода не рассматривает ни миграцию в явном виде, ни какие-либо последующие изменения в составе населения, хотя ван де Каа (1999) предполагает увеличение иммиграции как естественное косвенное следствие низкой рождаемости в странах-получателях. Другая часть этого уравнения – то, что эмиграция обычно достигает максимума на пике роста населения в середине перехода как в Европе XIX столетия, так и в развивающихся странах сегодня (Ортега 2005)» [Coleman 2006: 402].

Можно согласиться с тем, что концепция демографического перехода в ее сложившемся виде не уделяет большого внимания миграции, фокусируя внимание на изменении соотношения между рождаемостью и смертностью. Однако она и не закрывает дверь для введения миграции в число ключевых переменных перехода.

Как уже упоминалось, миграция – один из регуляторов, который включается при нарушении демографического равновесия. Одновременно это и важнейший фактор человеческой истории, сформировавший нынешнюю картину расселения людей на земном шаре, их расовое, этническое, языковое разно образие. Коулмен прекрасно знает историю миграций, он упоминает и о Великом переселении народов, и о затрагивавших Европу в не столь уж отдаленном прошлом миграциях арабов, турков, татаро-монголов, и о внутриевропейских миграциях, и, как мы только что видели, о роли миграционного регулятора во время европейского демографического взрыва XIX в., когда заокеанские миграции ослабили демографическое напряжение внутри Европы и одновременно привели к созданию США и других новых государств с населением европейского происхождения.

Однако ситуация, сложившаяся в мире сейчас, не имеет прецедентов ни по масштабу и скорости нарушения равновесия, приведшего к небывалому демографическому взрыву, ни по географическому охвату. По сути, речь идет о почти мгновенной (по историческим меркам, разумеется) глобализации демографического перехода. На этой стадии включение миграционного регулятора, когда другие регуляторы либо неприемлемы (повышение смертности), либо недостаточны (снижение рождаемости) для быстрого восстановления равновесия, вполне естественно и никак не противоречит логике теории демографического перехода.

Именно в глобализации демографического перехода и заключается его новая фаза, которую можно было бы назвать «третьим демографическим переходом», но ее никак нельзя свести просто к изменению состава населения принимающих стран, хотя это изменение и в самом деле имеет место[5]. Суть ее заключается в превращении всего мирового населения в систему сообщающихся сосудов, в которой все демографические процессы взаимосвязаны между собой и не могут быть поняты с позиций какой-либо одной из частей этой системы.

В схеме Коулмена один из главных факторов притока иммигрантов в Европу – падающая ниже уровня простого замещения поколений рождаемость в европейских странах, причем и он сам, и, как мы видели, другие теоретики демографического перехода ищут объяснения этого падения в экономических, социальных и культурных изменениях, происходящих в самих этих странах. Наши возражения сводились к тому, что подобные объяснения избыточны, поскольку снижение рождаемости предопределено снижением смертности и необходимостью восстановления нарушенного демографического равновесия. Но такое возражение всегда может натолкнуться на контраргумент: падение рождаемости не останавливается, достигнув уровня равновесия, а падает ниже этого уровня. Этот аргумент не только выдвигается, но иногда трактуется как свидетельство несостоятельности теории демографического перехода (см., например, [Валлен 2005; Marchal 2008]).

Между тем вся эта аргументация может казаться убедительной только в рамках логики, которую можно метафорически назвать «вестфальской», имея в виду Вестфальскую систему международных отношений, установившуюся в Европе в XVII столетии и ставшую триумфом принципов государственного суверенитета. Этим принципам и отвечает «страноцентрическое» мышление демографов, которым кажется, что теория демографического перехода обязана оправдываться в рамках государственных границ отдельных стран или, в крайнем случае, группы стран.

Между тем ни одно государство нельзя рассматривать как «закрытую систему», в границах которой демографический переход может реализоваться независимо от того, что происходит за их пределами. Такой закрытой системой можно считать только все население земного шара. В глобальных же масштабах рождаемость все еще остается существенно *выше* уровня замещения, и нарушенное равновесие не восстановлено именно в этом смысле. Но даже если равновесие рождаемости и смертности на глобальном уровне будет восстановлено, скажем, к 2100 г., как это предполагается по среднему варианту последнего прогноза ООН, это еще не означает восстановления равновесия между числом жителей Земли (предполагается, что оно достигнет к этому времени 10 млрд человек) и ресурсами жизнеобеспечения, которыми располагает наша планета. «С точки зрения самосохранения человеческой цивилизации, было бы намного лучше, если бы мировая демографическая эволюция перешла в новую стадию, характеризующуюся сокращением мирового населения. Если исключить такое сокращение вследствие подъема смертности, то единственный механизм, который может обеспечить как можно более быстрое удаление от критической ситуации демографического взрыва, – это рождаемость ниже уровня простого возобновления поколений» [Vishnevsky 2004: 274].

С позиций такой логики, отнюдь не противоречащей общей логике демографического перехода как процесса самоорганизации мировой демографической системы, адаптирующейся к новой репродуктивной стратегии человечества, низкая рождаемость в развитых странах Севера и растущие миграционные потоки с Юга на Север – не причина и следствие, а рядоположенные звенья одной цепи на этапе глобализованного демографического перехода.

С одной стороны, «низкая “западная” рождаемость – вовсе не свидетельство упадка и кризиса современной “западной” цивилизации, как кажется многим, а напротив, доказательство ее огромных адаптивных возможностей. Проложив путь небывалому снижению смерт-

[5] Идеология // БСЭ. Т. 10. С. 39.

ности во всемирных масштабах, развитые страны прокладывают путь и низкой рождаемости, без которой одно из величайших достижений человека – низкая смертность – превращается в серьезную угрозу для человечества» [Вишневский 2008: 85]. При этом низкая рождаемость вполне может получать в развитых странах, в том числе и в России, крайне негативную оценку и действительно создавать серьезные проблемы для них (в частности, и те, о которых пишет Коулмен), но отдельные страны едва ли способны ей противодействовать, «ибо глубинная объективная логика глобального выживания важнее эгоистической логики, отражающей интересы отдельных стран. Если эта гипотеза верна, глубинные причины падения рождаемости ниже уровня простого воспроизводства в индустриальных странах коренятся не в специфических условиях или стиле жизни их населения. Это падение – элемент глобального демографического процесса, имеющего свои собственные системные детерминанты» [Vishnevsky 2004: 274]. Рано или поздно все страны начинают следовать за пионерами низкой рождаемости. Китай – лишь первая ласточка, теперь уже далеко не единственная.

С другой же стороны, учитывая немалое время, которого потребует восстановление глобального демографического равновесия с помощью снижения рождаемости, неизбежен достаточно длительный этап, на протяжении которого свою обычную историческую роль балансирующего перераспределительного механизма будет выполнять международная миграция.

Этот этап, конечно, не может быть простым. Известно, какой огромный отпечаток наложило на состав населения Европы и на всю ее историю Великое переселение народов в I тыс. н. э. Сегодня кажется, что тогда происходили огромные миграции. Они и были большими по тем временам, когда все население мира составляло порядка 200 млн человек. Но в начале XXI в. стремительно растущее число международных мигрантов уже превысило 200 млн [UN 2013-1: Tab. 1], и скорее всего это только начало. По оценкам ООН, между 1975–1980 и 2005–2010 гг. чистая миграция из развивающихся в развитые страны за пятилетие выросла с 6,5 до 17,4 млн человек [UN 2013-2: fileMIGR/2]. Как события будут развиваться дальше? Прогнозы ООН, предсказывающие сокращение перетока населения из развивающихся в развитые страны – вплоть до его полного прекращения к концу века (рис. 1), представляются утопическими, пока ничто не предвещает такого сокращения. В этих прогнозах гораздо больше от нынешних настроений общественного мнения развитых стран, чем от реальной оценки будущего.

Депопулирующие страны Севера будут и впредь нуждаться в притоке населения, а перенаселенный Юг всегда будет готов удовлетворить любой спрос на мигрантов. Но демографические массы Севера и Юга неравноценны, миграционный напор с Юга всегда будет превышать потребности Севера, равно как и его возможности поглотить растущее предложение, и чем дальше, тем больше. Сейчас трудно представить себе, как разрешится эта коллизия, но то, что нынешняя фаза «глобализованного демографического перехода» ставит мир перед очень серьезными проблемами, а их решение будет намного более сложным, чем хотелось бы Коулмену, да и автору этой статьи, едва ли может вызывать сомнения.

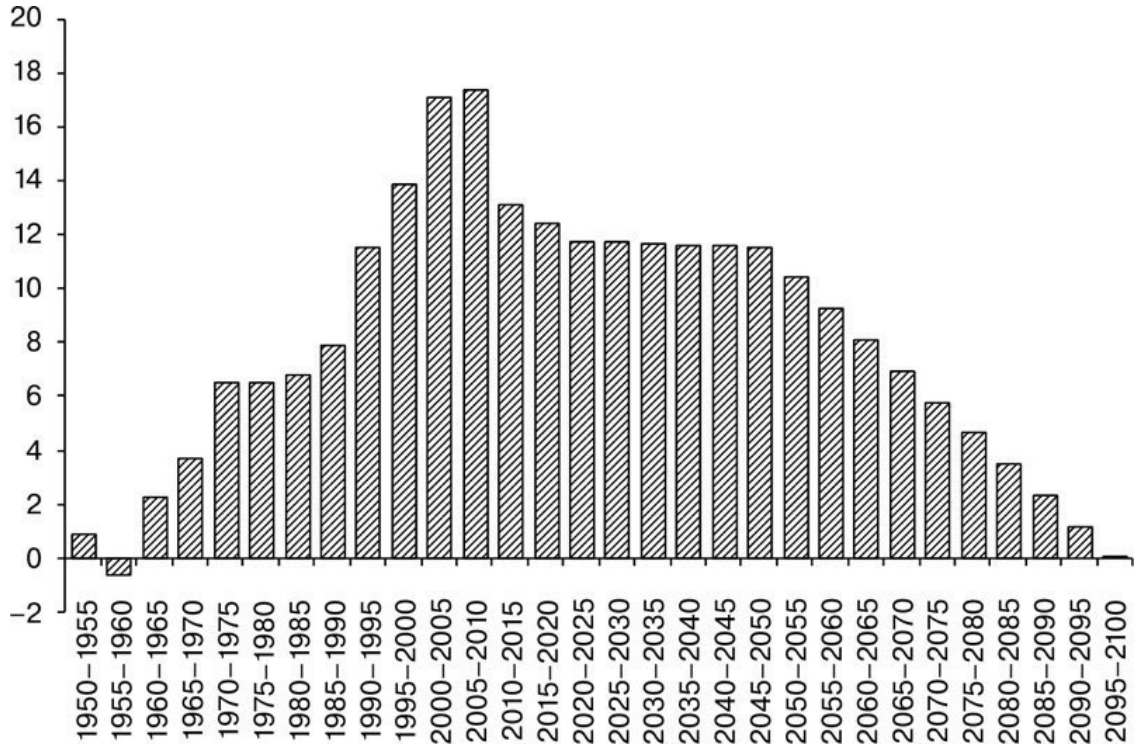

Рис. 1. Чистая миграция из развивающихся стран в развитые, по оценкам и прогнозу ООН, 1950–2100 гг., млн человек

Источник: [UN 2013-2: fileMIGR/2].

Заключение

Главная задача этой статьи заключается в том, чтобы подчеркнуть масштабность и самостоятельность переживаемых миром демографических перемен. Первым заговорившим об этих переменах был Адольф Ландри, который называл их «демографической революцией», что имплицитно указывало на исторические масштабы перемен. К 1940-м годам центр обсуждения этих перемен переместился в США, где стали использовать термин «демографический переход», что, как отмечает ван де Каа, «ослабило его историческую глубину и смысловое звучание термина и больше подчеркнуло его связь с модернизацией и ее экономическими последствиями». В конце концов, возобладал термин «демографический переход», хотя, как пишет ван де Каа, трудно сказать, был ли термин «революция» отвергнут сознательно или термин «переход» получил более широкое международное звучание благодаря тому, что для большинства исследователей американская демографическая литература была доступнее французской [van de Kaa 2010].

Сейчас едва ли сто́ит возобновлять спор о терминах, но все же нельзя не заметить, что термин «революция» указывает на более глубокий исторический контекст. Об этом также говорит ван де Каа, отмечая, что этот термин был выбран Ландри неслучайно, он как бы ставил эту почти незамеченную революцию рядом с Французской политической революцией, запомнившейся многими впечатляющими событиями [Ibid.]. На это обращали внимание и другие авторы, например, Зденек Павлик, который ставил демографическую революцию в один ряд еще с одним великим историческим событием: «промышленной революции в экономическом развитии соответствует демографическая революция в развитии населения» [Pavlik 1964: 38]. Он писал, что «демографическая революция является составной частью комплексного исторического процесса, имеющего много сторон, причем далеко не является их пассивным про-

дуктом, а играет во всем этом процессе свою самостоятельную и важную роль» [Павлик 1970: 51–52].

Мне кажется, что термин «революция» более соответствует совершенно особой, фундаментальной роли идущей на наших глазах демографической трансформации. Если мы признаем, что она действительно знаменует собой переход к новой репродуктивной стратегии вида *Homo sapiens*, то мы должны признать и то, что по своему общечеловеческому значению, по своим последствиям и по порождаемым ею глобальным рискам она превосходит любую политическую или экономическую революцию.

И все же проблема, конечно, не в термине. Проблема в понимании и признании единства и универсальности этой трансформации, предопределенности и неотвратимости ее этапов и тех поистине небывалых вызовов, на которые она требует ответа. Отсюда еще одна задача этой статьи: сопоставить два взгляда на демографический переход (демографическую революцию). Этот переход можно видеть как саморазвивающуюся «цепную реакцию», которая, раз начавшись, становится уже необратимой, проходящей через разные этапы, каждый из которых, в главных чертах, предопределен предыдущим и предопределяет последующий, – и так до завершения всего процесса. А можно, как это обычно и делается, видеть в этапах перехода лишь последовательность наблюдаемых изменений, каждое из которых имеет свои собственные «недемографические» детерминанты (экономические, социальные и проч.). Эти этапы, стало быть, не общеобязательны: они могут наблюдаться в одних странах и не наблюдаться в других, наблюдаться в Европе и не наблюдаться в Азии и т. д.

Сейчас исследователи, а тем более политики, как бы стараются не замечать единства мощного исторического потока, научное сознание перемежается обывательским «здравым смыслом», концентрируется на отдельных участках этого потока, иной раз даже на мелких и случайных ответвлениях от него, предлагает рецепты, все достоинство которых заключается в том, что они легко понятны «человеку с улицы» и уменьшают его тревоги. Общественное мнение часто не видит связи между глобальными демографическими переменами и сиюминутными проблемами отдельной семьи или отдельной страны. А история между тем делает свое дело.

Литература

Валлен Ж. (2005). Речь на открытии XXV Международного конгресса по народонаселению в Туре, июль 2005 // Этнопанорама. № 3–4.

Вебер М. (1990). Основные социологические понятия // Вебер М. Избр. произв. М.: Прогресс.

Вишневский А. Г. (1973). Демографическая революция // Вопр. философии. 2. С. 53–64.

Вишневский А. Г. (1976). Демографическая революция. М.: Статистика. Цит. по изд.: *Вишневский А. Г.* Избранные демографические труды. М.: Наука, 2005. Т. 1.

Вишневский А. Г. (1986). Процессы самоорганизации в демографической системе // Систем. исследования. Методолог. проблемы. Ежегодник 1985. М.: Наука. С. 233–245.

Вишневский А. Г. (2005). Избранные демографические труды. Т. 1. М.: Наука.

Вишневский А. Г. (2008). Глобальные детерминанты низкой рождаемости // Синергетика. Будущее мира и России / под ред. Г. Г. Малинецкого. М.: Изд-во ЛКИ. С. 71–91.

Гузеватый Я. Н. (1980). Демографо-экономические проблемы Азии. М.: Наука.

Каутский К. (1923). Размножение и развитие в природе и обществе. М.; Пг.: Госиздат. (Соч.; т. 12).

Маркс К., Энгельс Ф. (1948). Избранные произведения: в 2 т. Т. II. М.: Госполитиздат.

Омран А. Р. (1977). Эпидемиологический аспект теории естественного движения населения // Проблемы народонаселения. О демограф. проблемах стран Запада / под ред. Д. И. Валентея, А. П. Судоплатова. М.: Прогресс.

Павлик З. (1970). Проблемы демографической революции // Studia demograficzne. № 22–23.

Полибий. (1995). Всеобщая история в сорока книгах: в 3 т. Т. III. Кн. XXXVII. 9. М.: Наука.

Хаджнал Дж. (1979). Европейский тип брачности в ретроспективе // Брачность, рождаемость и семья за три века / под ред. А. Г. Вишневского, И. С. Кона. М.: Статистика.

Энгельс Ф. (1961). Предисловие к первому изданию работы «Происхождение семьи, частной собственности и государства» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. М.: Политиздат.

Ariès P. (1980). Two Successive Motivations for the Declining Birth Rate in the West // Population a. Development Rev. Vol. 6. No. 4. P. 645–650.

Caldwell J. C. (1976). Toward a Restatement of Demographic Transition Theory // Population a. Development Rev. Vol. 2. No. 3–4. P. 321–366.

Caldwell J. C. (2006). Demographic Transition Theory. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Chesnais J.-C. (1986). La transition demographique. Paris, INED, Travaux et documents. Cahiers № 113. PUF.

Coleman D. (2006). Immigration and Ethnic Change in Low-fertility Countries: A Third Demographic Transition // Population a. Development Rev. Vol. 32. No. 3. P. 401–446.

Cowgill D. O. (1970). Transition Theory as a General Population Theory // Social Demography / T. R. Ford, G.F. de Jong (eds). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. P. 627–633.

Landry A. (1909). Les trois theories principales de la population. Scientia.

Landry A. (1934). La Revolution demographique. P.

Leridon Henry et al. (1987). La seconde revolution contraceptive: La regulation des naissances en France de 1950 à 1985. Paris, INED, Travaux et documents. Cahier № 117.

Lesthaeghe R. (1983). A Century of Demographic and Cultural Change in Western Europe: An Exploration of Underlying Dimensions // Population a. Development Rev. Vol. 9. No. 3. P. 411–435.

Lesthaeghe R. (2010). The Unfolding Story of the Second Demographic Transition // Population a. Development Rev. Vol. 36. No. 2. P. 211–251.

Lesthaeghe R., van de Kaa D. J. (1986). Twee demografische Transities? // Bevolking: Groei en Krimp. Mens en Maatschappij / D.J. van de Kaa, R. Lesthaeghe (eds). Deventer: Van Loghum Slaterus. P. 9–24.

Livi Bacci M. (1995). A propos de la transition demographique // Transitions demographiques et societes. Chaire Quetelet. 1992 / sous la dir. de D. Tabutin, T. Eggerickx, C. Gourbin. Louvain-la-Neuve: Academia L'Harmattan. P. 449–457.

MacArthur R.H., Wilson E. O. (1967). The Theory of Island Biogeography. Princeton.

Malthus T. R. (1826). An Essay on the Principle of Population. 6th ed. App. II.14. http://www.econlib.org/library/Malthus/malPlong41.html#AppendixII.

Marchal C. (2008). De la theorie geocentrique à la transition demographique: Comment meurt une theorie scientifique. http://desiebenthal.blogspot.fr/2008/11/krach-le-suicide-dumonde-jean.html.

Mesle F., Vallin J. (2002). La transition sanitaire: tendances et perspectives // Demographie: analyse et synthèse / sous la dir. de G. Caselli, J. Vallin, G. Wunsch. INRD. Vol. III. Chap. 57.

Notestein F. (1945). Population – the Long View // Food for the World / T. W. Schultz (ed.). Chicago Univ. Press. P. 37–57.

Okólski M. (1999). Migration Pressures on Europe: Working papers of the Inst. for Social Studies. Univ. of Warsaw. (Prace migracyjne; nr. 26).

Olshansky S. J., Ault A. B. (1986). The Fourth Stage of the Epidemiologic Transition: The Age of Delayed Degenerative Diseases // The Milbank Quart. Vol. 64. No. 3. P. 355–391.

Omran A. R. (1971). The Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change // The Milbank Memorial Fund Quart. Vol. 49. No. 4. Pt. 1.

Omran A. R. (2005). The Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change // The Milbank Quart. Vol. 83. No. 4. P. 731–757.

Pavlik Z. (1964). Nástin populačniho vyvoje světa. Praha.

Reher D. S. (2011). Economic and Social Implications of the Demographic Transition // Population a. Development. Rev. 37 (Suppl.). P. 11–33.

Terris M. (1985). The Changing Relationships of Epidemiology and Society: The Robert Cruikshank Lecture // J. of Public Health Policy. Vol. 6. March.

UN (2013-1). Department of Economic and Social Affairs. Trends in International Migrant Stock: The 2013 revision. United Nations database. POP/DB/MIG/Stock/Rev .2013.

UN (2013-2). Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2012 revision. CD-ROM ed.

Van de Kaa D. J. (1987). Europe's Second Demographic Transition // Population Bull. Vol. 42. No. 1.

Van de Kaa D. J. (1996). Anchored Narratives: The Story and Findings of Half a Century of Research into Determinants of Fertility // Population Studies. Vol. 50. No. 3. P. 389–432.

Van de Kaa D. J. (2003). Never a Dull Moment: On Research Prospects for Polish Demographers // van de Kaa D. J. Doctor Honoris Causa of the Warsaw School of Economics.

Van de Kaa D. J. (2010). Demographic Transitions // Encycl. of Life Support Systems (EOLSS). Demography / Z. Yi (ed.). Oxford, UK: Eolss Publishers. Vol. 1. P. 65–103.

Vichnevski A. (1974). La revolution demographique // Problèmes de la population. II^{e} livr. Problèmes du monde contemporain. Moscou. Vol. 1. No. 25. P. 121–133.

Vishnevsky A. (1974). The Demographic Revolution // Population Problems. Iss. Two: Problems of the Contemporary World. Moscow. Vol. 1. No. 26. P. 116–129.

Vishnevsky A. (1991). Demographic Revolution and the Future of Fertility: A Systems Approach / W. Lutz (ed.) // Future Demographic Trends in Europe and North America. L.: Academic Press. P. 257–280.

Vishnevsky A. (2004). Replacement Migration: Is it a Solution for the Russian Federation? // Policy Responses to Population Decline a. Ageing: Population bull. of the United Nations. Spec. Iss. Nos. 44/45, 2002. N.Y.: United Nations. P. 273–287. (ST/ESA/SER. N44/45).

Višnevskij A.G. (1980). Die demographische Revolutionen // Theorie u. Methode III. Demo graphie. Einf. in die marxistische Befölkerungswiss. Fr.a.M.: Hrsg. vom Inst. für Marxistische Studien u. Forschungen (IMSF). S. 40–45.

Wischnevski A. G. (1973). Die demographische Revolution // Sowietwiss. Gesellschatswissenschaftliche Beitr. Berlin. Nr. 6. S. 633–645.

Цивилизация, культура и демография[6]

Демографический переход как часть цивилизационного перехода

Огромные демографические перемены, четко обозначившиеся в Европе в XIX столетии и развернувшиеся с особой силой в XX столетии, сделали необходимым их осмысление в широком историческом контексте. Это привело к появлению теории демографического перехода, которая предлагает концептуальное описание революционных демографических изменений последних столетий как одной из сторон глобальной модернизации, т. е. всемирной исторической трансформации аграрной, сельской, натурально-хозяйственной цивилизации ***с высокой смертностью*** в городскую, промышленную, рыночную; традиционного, аграрного, сельского, патриархального, соборного общества – в современное, индустриальное или постиндустриальное, городское, индивидуалистское – ***с низкой смертностью.*** Набор характеристик двух цивилизаций в предыдущей фразе более или менее стандартен – за исключением выделенной курсивом. Ни историки, ни экономисты, ни социологи, ни культурологи обычно не удостаивают ее того внимания, которое позволило бы поставить переход к низкой смертности в один ряд с промышленной революцией или урбанизацией. А зря.

Теория демографического перехода очень четко указывает на внутреннюю детерминацию демографических перемен, которые, раз начавшись и имея, в главном, единое общее объяснение (снижение смертности), не нуждаются ни в каких дополнительных интерпретациях. Обращение к экономике, культуре или религии за дополнительными разъяснениями (которые, кстати, экономисты, культурологи или религиозные деятели охотно дают) может помочь в понимании местных особенностей, второстепенных деталей, причин ускорения или торможения, но не магистральной линии демографического развития. Более того, понимание сути демографических перемен само обладает огромной объясняющей силой, которую невредно было бы использовать исследователям экономических или культурных изменений. Но, как правило, они этого не делают.

Одно из следствий теории демографического перехода заключается в том, что она не позволяет согласиться ни с тем толкованием понятия «цивилизация», которое дает С. Хантингтон, ни с теми выводами, которые он делает из этого толкования. Она обращает внимание на очень глубокие черты, общие, чтобы не сказать одинаковые, для социального поведения, а значит, и для культуры людей, в которых Хантингтон видит представителей разных цивилизаций. Он определяет цивилизации как то, что дает людям «наивысший уровень идентификации», «самый широкий уровень культурной идентификации, помимо того, что отличает человека от других биологических видов», как «самые большие “мы”, внутри которых каждый чувствует себя в культурном плане как дома и отличает себя от всех остальных “них”» [Хантингтон, 2003, с. 46, 50–51]. Но то, что он называет «цивилизациями», с точки зрения теории демографического перехода не есть «самые большие “мы”», ибо есть бóльшие. Впрочем, точка зрения демографа – не единственная, подводящая к такому выводу, далеко не новому. Сам Хантингтон прекрасно знает о существовании сельскохозяйственных и промышленных, традиционных и современных обществ, говорит о том, что «современные общества могут быть более схожими, чем традиционные», и цитирует совершенно верные слова Ф. Броделя о том, что «Китай династии Мин… был несомненно ближе к Франции времен Валуа, чем Китай Мао Цзэдуна к Франции времен Пятой республики». Он говорит о модернизации, которая «вклю-

[6] Демографическое обозрение. 2014. № 1. С. 6–33. http://demreview.hse.ru/2014-1/120991102.html.

чает в себя индустриализацию, урбанизацию, растущий уровень грамотности, образованности, благосостояния и социальной заботы, а также более сложные и многосторонние профессиональные структуры» (но, конечно, как и все, не упоминает снижения смертности и небывалого удлинения человеческой жизни), и характеризует ее как «революционный процесс, который можно сравнить только с переходом от примитивного к цивилизованному обществу, то есть с возникновением и ростом цивилизованности, которое началось в долинах Тигра и Евфрата, Нила и Инда около 5000 г. до нашей эры» [Там же, с. 95, 94–95]. То есть, по сути, он сам указывает на три этапа человеческой истории, которые гораздо больше соответствуют применяемому им критерию «самых больших “мы”», чем предлагаемые им «самые большие культурные целостности». Если использовать этот критерий, то в истории человечества было только три цивилизации: доаграрная, аграрная и наша, современная.

Соответственно демографический переход – совокупность исторических перемен, в результате которых модернизируется, рационализируется и становится намного более эффективным извечный процесс возобновления человеческих поколений, – должен рассматриваться как часть более общего цивилизационного перехода. Место же этого процесса в жизни любого общества настолько фундаментально, что переживаемые им радикальные перемены затрагивают глубинные основания традиционных культур и требуют их пересмотра, ибо заставляют по-новому взглянуть на экзистенциальные вопросы жизни, смерти, любви, производства потомства. Они вынуждают заново отредактировать культурные предписания, касающиеся отношения между полами, семейной жизни, положения в семье и обществе женщин и мужчин, родителей и детей, пожилых людей, разделения людей на «своих» и «чужих».

Таким образом, демографический переход становится очень важным фактором «культурного отбора», тысячелетиями обеспечивавшего эволюцию культурных норм и их приспособление к меняющимся условиям жизни. Однако если обычно изменение этих условий идет медленно и постепенно и не создает больших проблем, то теперь оно резко ускоряется, и культурные перемены становятся очень болезненными. Везде, где они происходят, на протяжении какого-то времени существуют и соперничают две нормативные системы – старая и новая. Между ними возникает конфликт, приобретающий тем бóльшую остроту, чем быст рее идет обновление норм. В этом случае «культурный шок» оказывается особенно сильным, а воинствующие сторонники «старого» и «нового» – особенно многочисленными и непримиримыми. Вследствие многослойности модернизации ускоренное обновление культурных норм, в том числе и демографических, очень часто, если не всегда, совпадает по времени с крупными социальными и политическими сдвигами. В такие периоды даже, казалось бы, далекие от политики перемены в строе семейной жизни, в отношениях между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми и т. п. приобретают символическое значение политических маркеров, что нередко приводит к культурному и религиозному расколу, а то и к братоубийственным войнам или внешней агрессии.

Положение усложняется тем, что если модернизация, в том числе и демографическая, в странах западной культуры была пионерной, эндогенной, и все перемены постепенно вызревали внутри самой этой культуры, то в большинстве других стран – это догоняющая модернизация с использованием, а впоследствии и с самостоятельным развитием и усовершенствованием готовых рецептов, выработанных в «западной лаборатории». Это обстоятельство существенно влияет на характер аргументов противников модернизации, которые неизменно появляются в их полемике со сторонниками радикальных культурных инноваций, в ней неизменно возникает мотив внешней культурной агрессии, необходимости противодействия ей, защиты собственной культурной традиции, свойственного ей культурного разнообразия и т. п.

Все это действительно можно назвать «столкновением цивилизаций» (а демографическая область – одна из главных арен этого столкновения), но не в «географическом» смысле Хантингтона – как столкновения рядоположенных «больших культурных целостно-

стей», а в «историческом» – как естественного столкновения старого и нового, протекающего в любой культуре и на любом ее микроскопическом срезе. Исход же этого столкновения, сколь бы болезненным оно ни было, предрешен эволюционными преимуществами новых цивилизационных форм. Человечество уверенно движется к универсализации промышленно-городской цивилизации[7], которая, как и предшествовавшие ей донеолитическая присваивающая и постнеолитическая аграрная цивилизации, отнюдь не исключает огромного разнообразия локальных культур, хотя это движение должно будет реализовываться в совершенно новых условиях.

Этой идущей на наших глазах универсализации не признавал Хантингтон, опускаясь в своей аргументации до предельно банальных идеологических клише, способных в равной степени порадовать слух и бывших советских функционеров, и исламских или православных фундаменталистов, и европейских антиглобалистов, и вообще всех недовольных, которым облегчает жизнь наличие образа врага. «Концепция универсальной цивилизации, – утверждал он, – является характерным продуктом западной цивилизации. В девятнадцатом веке идея “бремени белого человека” помогла оправдать распространение западного политического и экономического господства над не-западными обществами. В конце двадцатого столетия концепция универсальной цивилизации помогает оправдывать западное культурное господство над другими обществами и необходимость для этих обществ копировать западные традиции и институты. Универсализм – идеология, принятая Западом для противостояния не-западным культурам» [Хантингтон, 2003, с. 90].

Универсалистская концепция, несомненно, – продукт западной цивилизации, но не сама по себе, а вместе с дифференциальным и интегральным исчислением, паровой машиной и двигателем внутреннего сгорания, теорией происхождения видов и электричеством, авиацией и пенициллином, пулеметом и атомной бомбой, парламентской демократией и равноправием женщин. Список можно продолжать до бесконечности, и это будет бесконечный перечень соблазнов для самых антизападных традиционалистов.

Не приходится удивляться, что, как правило, все начинается с интереса к западному оружию, но никогда этим не кончается. Как писал А. Тойнби, «“зелот” (в данном случае – сторонник традиционной архаики. – *А. Г.*), вооруженный бездымным скорострельным оружием, – это уже не чистый “зелот”, ибо, признав западное оружие, он вступает на осквернённую почву». Тойнби передает разговор британского посланника с неким имамом в 20-х годах прошлого века. Посланник похвалил его армию, организованную на европейский манер, и выразил надежду, что имам воспользуется и другими западными институтами. «Думаю, что нет, – ответил имам. – …Я не люблю ни парламент, ни алкоголь, ни *вообще все такое*». «Таким образом, имам, – комментирует Тойнби, – по собственному молчаливому признанию, восприняв элементы западной военной техники, фактически внес в жизнь своего народа самый краешек того клина, который со временем будет вбит и неумолимо расколет пополам традиционно сплоченную Исламскую цивилизацию» [Тойнби, 1995, с. 117, 118].

Другой пример, приводимый Тойнби, указывает на еще одно направление проникновения в традиционный исламский мир «западного клина». Он ссылается на британский отчет о состоянии дел в Египте в 1839 г., где отмечалось, что единственный в Египте тех лет родильный дом находился на территории морского арсенала в Александрии. Это объяснялось тем, что правивший тогда Египтом Мехмед Али захотел построить современный военный флот, для чего были приглашены западные специалисты, а они потребовали обеспечить им современное медицинское обслуживание. «Западная колония при арсенале, однако, была малочисленна… Жителям же Египта имя – легион, и в повседневной медицинской практике

[7] Эта статья была, кроме того, опубликована на английском, французском и два раза – на немецком языке [Wischnevski 1973; Vishnevsky 1974; Vichnevski 1974; Višnevskij 1980].

самым распространенным случаем были роды. Таким-то образом и появился родильный дом для египетских женщин в пределах морского арсенала, руководимого западными специалистами» [Там же, с. 119].

Западная медицина стала еще одним непреодолимым соблазном для самых больших антизападных традиционалистов, а это, в свою очередь, породило цепную реакцию, потрясшую всю систему культурной регламентации демографических процессов и всего, что с ними связано. Однако никакого «навязывания» западной культуры здесь не было. Разные «не-западные» страны проходят тот же тернистый путь усвоения культурных инноваций, по которому в свое время прошли и сами страны Запада.

Снижение смертности и новая медицинская цивилизация

Венгерские палеодемографы Д. Ачади и Я. Немешкери, пытаясь проследить сдвиги в смертности в далеком прошлом, приходят к выводу о некотором снижении смертности в постнеолитических аграрных и оседлых обществах, что, вероятно, было связано с определенной унификацией жизнеохранительных практик за счет отбора и распространения наиболее эффективных. Исследователи отмечают, в частности, появление тенденции к «интеграции смертности» в эпоху античных империй. «Это означает, что населения с более сбалансированной мо делью смертности жили в сходных социальных и экономических условиях в более крупных смежных регионах» [Acsady, Nemeskeri, 1970, p. 215]. Важным этапом унификации эффективных жизнеохранительных практик было возникновение мировых религий, которые способствовали широкому распространению однотипного понимания ценности человеческой жизни и необходимых усилий по ее охране, однотипных бытовых практик и медицинских процедур.

Новый скачок в продолжительности жизни и новая интеграция смертности стали возможны только тысячелетия спустя, когда цивилизация, возникшая в ходе неолитической революции, подошла к черте нового цивилизационного перехода. Небывалое снижение смертности – отправная точка современной демографической революции и в то же время важнейшая черта становления всей современной цивилизации – стало возможным благодаря научным, техническим и социальным инновациям двух последних столетий, оказавшим мощное унифицирующее воздействие на методы борьбы за повышение продолжительности жизни.

Антибиотики, практика массовой вакцинации, обеззараживание питьевой воды, современные медицинские технологии, методы профилактики, гигиенические стандарты – список можно долго продолжать – завоевали весь мир и небывало повысили эффективность борьбы человека со смертью. Именно высокая эффективность оказалась одним из главных двигателей глобализации всех этих инноваций. Несмотря на то что они представляют собой плод новой промышленной и городской цивилизации, которая встречает критическое отношение традиционных обществ, они охотно заимствуются всеми странами и народами, даже если последние декларируют безграничную приверженность традиционализму. Заимствования готовых «западных» форм борьбы с болезнями и смертью резко укорачивают путь к низкой смертности, который в самих западных странах был более долгим и небесконфликтным.

В качестве примера можно привести историю вакцинации, распространение которой в европейских странах шло постепенно, с конца XVIII в., и не только потому, что это было связано с постепенностью успехов медицинской науки, но и потому, что массовая вакцинация наталкивалась на сопротивление, питаемое народными предрассудками. Например, The Vaccination Act, принятый в Великобритании в 1853 г. и вводивший обязательную вакцинацию детей до трех лет, вызвал массовое сопротивление, в некоторых городах доходившее до открытого бунта. В 1885 г. в одном из них состоялась массовая манифестация против вакцинации, собравшая до 100 тыс. человек [Wolfe, Sharp, 2002, p. 430–432]. Стоит ли удивляться,

что еще более сильное недоверие к вакцинации существовало, например, в Индии. Современный автор письма в журнал BMJ цитирует индийскую газету конца XIX столетия, в которой говорится, что местные жители после прививки «втирают в кожу мел или муку, чтобы, если возможно, предотвратить проявление пузырьков на руках их детей», и замечает, что он сам в начале 1950-х годов слышал, как старики давали подобные советы молодым людям. Иногда они рекомендовали им скрываться, когда в деревню приезжают медики, производящие вакцинацию [Parthasarathy, 2002].

Антивакционистские настроения не совсем исчезли и сейчас, но никому не приходит в голову трактовать предрассудки невежественных людей как проявление «конфликта цивилизаций». Массовая вакцинация стала общепринятой процедурой даже в тех странах, где сохраняются и охраняются очень многие элементы традиционной культуры (рис. 1), их «традиционализм» не мешает усвоению и других новейших санитарных и медицинских подходов, распространение которых позволяет говорить о всемирной унификации методов борьбы с болезнями и смертью. Мировая статистика свидетельствует, что и в этих странах достигнуты огромные успехи в снижении смертности, в частности младенческой (рис. 2 на с. 49), и в увеличении продолжительности жизни (рис. 3 на с. 49), что возможно только при использовании современных универсальных методов защиты и восстановления здоровья человека.

Традиционные малоэффективные методы борьбы с болезнями и смертью не выдерживают конкуренции с современными методами, основанными на научном знании. Но развитие и распространение этих методов – следствие отнюдь не только научного и технологического прогресса. Ни то ни другое невозможно без глубоких культурных изменений, включающих пересмотр как базовых представлений о жизни и смерти, о ценности человеческой жизни, о праве людей бороться за ее сохранение и т. д., так и повседневной бытовой практики, образа жизни, который по ряду ключевых параметров, определяющих здоровье и долголетие, становится неотличимым у жителей Москвы, Нью-Йорка или Токио – представителей новой универсальной медицинской цивилизации. Впрочем, низкая смертность как один из маркеров этой цивилизации порождает, в свою очередь, цепочку других небывалых цивилизационных перемен.

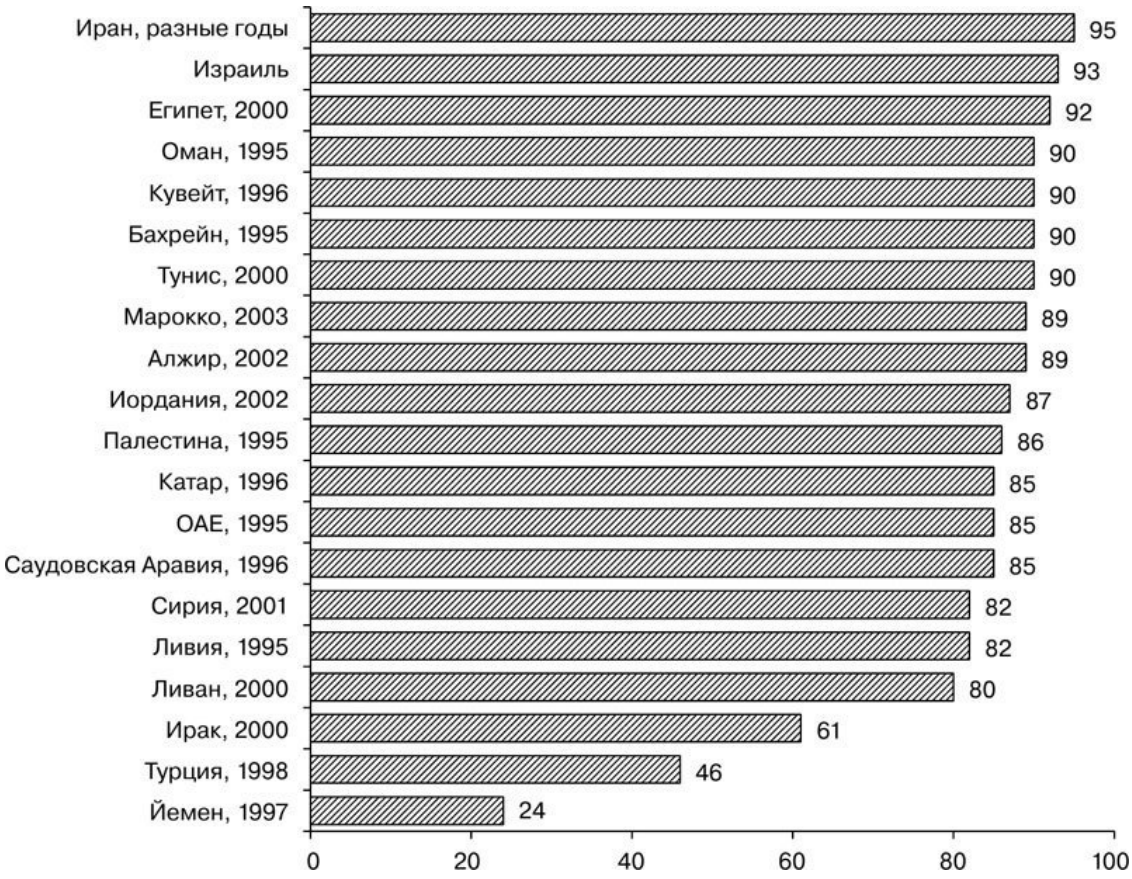

Рис. 1. Доля детей, прошедших вакцинацию в арабских странах и странах Ближнего Востока (дети, получившие все прививки – против BCG, DTCoq, полиомиелита и кори)

Источник: [Tabutin, Schoumaker, 2005, p. 712].

Новая цивилизация – цивилизация низкой рождаемости

На протяжении тысячелетий высокая смертность была одним из краеугольных камней, на которых выстраивалось все здание культурных норм, религиозных и нравственных предписаний, регулировавших поведение людей в демографической сфере. В частности, высокая смертность диктовала повсеместное конвергентное развитие тех принципов социальной жизни, которые затрагивали производство и выхаживание потомства и обеспечивали непрерывность поколений. При всем многообразии культурных форм и норм в этой области, все они покоились на общем основании. В организации семейной жизни, матримониальных правилах, семейных ролях мужчины и женщины и т. п. могли быть немалые различия, но некоторые базовые нормы, принятые во всех крупных культурно-религиозных системах, были одинаковыми, что лишний раз свидетельствовало об их общем цивилизационном основании. Брак должен был быть почти всеобщим и пожизненным, в женщине видели в первую очередь продолжательницу рода, большое число детей рассматривалось как безусловное благо, всякое вмешательство в процесс прокреации осуждалось и т. д. Если бы все эти нормы не охранялись культурой и не соблюдались, в условиях высокой смертности человечество вымерло бы.

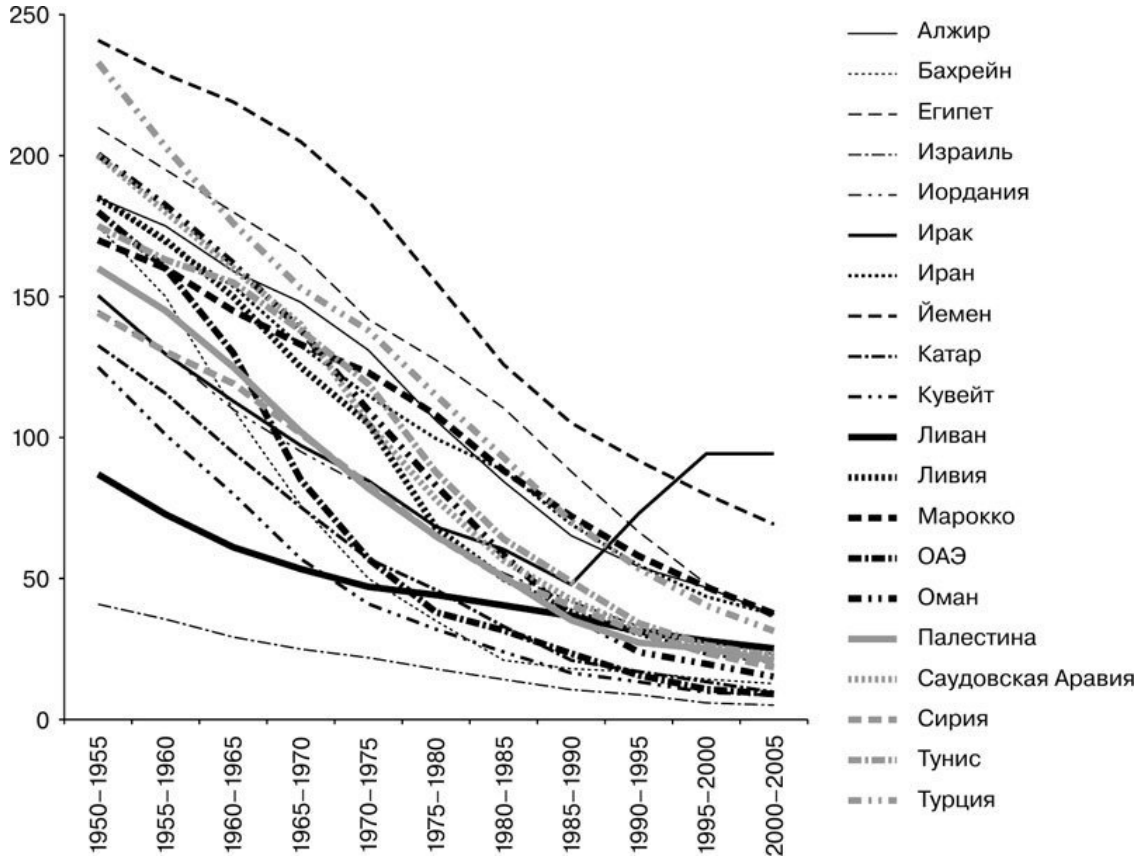

Рис. 2. Младенческая смертность в арабских странах и странах Ближнего Востока, на 1000 родившихся

Источник: [Population… 2006].

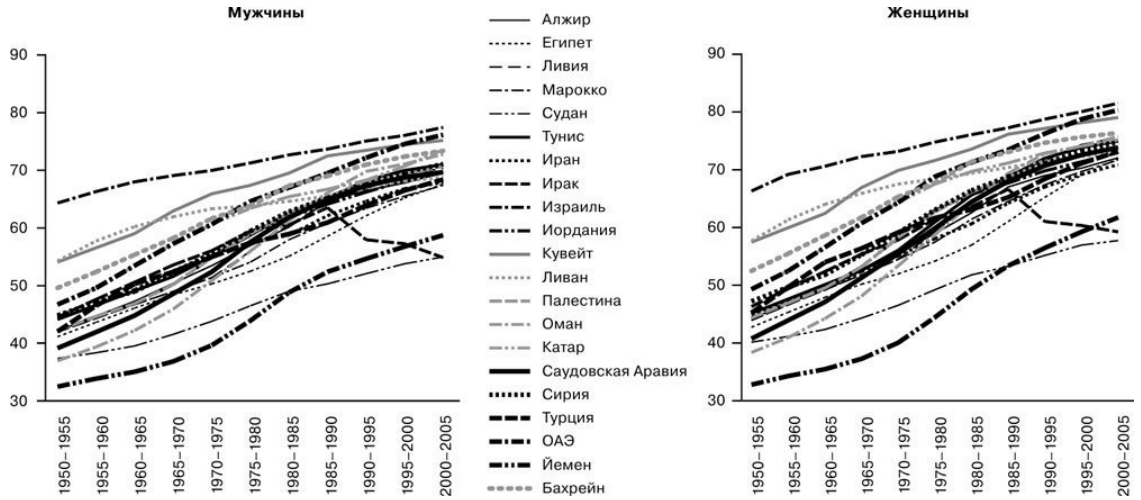

Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в арабских странах и странах Ближнего Востока, лет

Источник: [Population… 2006].

Резкое снижение смертности привело к тому, что многие из этих норм утратили смысл, начались их эрозия, поиск форм организации частной жизни людей и их культурной оболочки, больше соответствующих новым условиям, включающим и резко снизившийся уровень смертности. Первым принципиальным изменением стало снижение рождаемости, еще в XIX столетии казавшееся странной особенностью Франции, в начале XX в. охватившее все страны

западной культуры, а позднее распространившееся на весь мир. Будучи реакцией на всеобщее снижение смертности, снижение рождаемости особенно ясно демонстрирует универсальный характер происходящих перемен.

Со снижением смертности свойственный большинству аграрных обществ культурный запрет на свободу прокреативного выбора, т. е. на регулирование родителями числа и сроков рождения детей, утрачивает смысл и, как показывает глобальный демографический взрыв, становится даже опасным. В новых условиях все попытки сохранить прежние традиционные культурные нормы прокреативного поведения оказываются несостоятельными, и эти нормы быстро отмирают. Всеобщий запрет на намеренное предотвращение зачатия сменяется его всеобщим распространением, которое становится культурно приемлемым. Теперь за каждым человеком и за каждой супружеской парой признаётся право на «планирование семьи», право самим решать, иметь ли им детей и сколько, выбирать сроки появления детей на свет.

Планирование семьи – небывалая социальная и культурная инновация. В подавляющем большинстве случаев первоначальная реакция на нее со стороны государства, церкви, традиционалистски настроенного большинства населения оказывается определенно негативной. Западная культура приняла ее далеко не сразу. «Поставленная вне общества практика применения противозачаточных средств была приравнена к пороку подобному содомии. Даже атеисты XVIII в. клеймили это насилие над законами природы» [Сови, 1977, с. 179]. Борьба против «неомальтузианства» – целая эпоха в жизни викторианской Англии XIX в. Да и сейчас, несмотря на «контрацептивную революцию», в результате которой использование противозачаточных средств стало повседневной практикой подавляющего большинства мужчин и женщин в странах европейской культуры, оно не одобряется таким важным участником культурного процесса, как церковь. Католическая церковь еще в 1930 г. запретила супругам прибегать к каким бы то ни было способам предотвращения зачатия, кроме периодического воздержания (энциклика Casti Connubii папы Пия XI). Несколько десятилетий спустя, в 1968 г., эта позиция была подтверждена папой Павлом VI в энциклике Humanae Vitae. Интересно, что последней предшествовала работа специально созданной Ватиканом комиссии, большинство членов которой высказались за разрешение супругам пользоваться противозачаточными средствами, ибо «сегодня регулирование деторождения представляется необходимым большинству супругов, стремящихся к ответственному, открытому и сознательному родительству». Но папа последовал совету меньшинства, которое полагало, что «если бы Церковь смирилась с отказом от ценностей Доктрины, которая так непоколебимо сохранялась Традицией, с такой силой и торжественностью проповедовалась до самого последнего времени, то возникла бы серьезная угроза ее моральному и догматическому авторитету» (цит. по: [Leridon… 1987, p. 24–25]).

Если в странах европейской культуры неприятие современных методов планирования семьи представляло и представляет собой просто защиту культурной традиции против нововведений, то в странах неевропейской культуры в качестве одного из главных аргументов противников свободы прокреативного выбора нередко выступает защита «национальных традиций» от внешней культурной агрессии. Подобная реакция наблюдалась, например, во время проведения Международной Каирской конференции ООН по населению и развитию 1994 г. «Многие мусульманские сообщества и лидеры выражали подозрительное отношение к инициативам ООН, касающимся планирования семьи и контроля рождаемости. “Совет улемов” Саудовской Аравии, высшее собрание религиозных авторитетов, осудил Каирскую конференцию как “яростную атаку на исламское общество” и запретил мусульманам участвовать в ней. Судан, Ливан и Ирак присоединились к Саудовской Аравии и заявили, что они также не пошлют делегатов в Каир. Помимо всего прочего, они усмотрели в пункте повестки дня конференции, специально касавшемся проблем планирования семьи и ограничения рождаемости, навязывание мусульманам западных ценностей и попытку воскресить “колониальные и имперские амбиции”». Это лишь частный случай общей ситуации, когда «в ходе глобализации евро-

пейские и американские культурные формы воспринимаются как вторжение и возрастающая угроза мусульманским обществам. В этом контексте планирование семьи, применение контрацепции или доступность аборта постоянно рассматриваются либо как заговор западных держав с целью ограничить рост и силу мусульманского мира, либо как отражение вседозволенности сексуальных нравов западного общества. Таким образом, проблемы ограничения рождаемости оказываются вынесенными на более широкое минное поле политической и культурной полемики» [Shaikh, 2003].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.